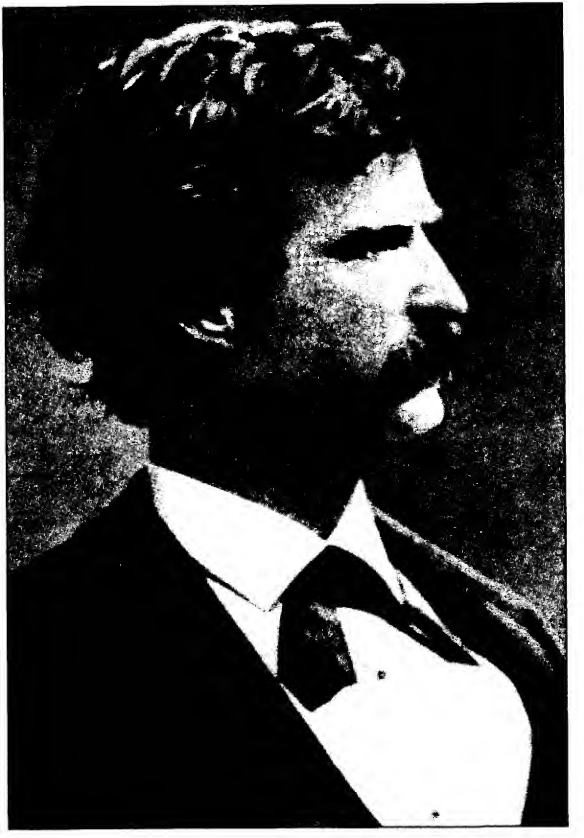
МАРК ТВЕН

РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ



Марк Твен
(1835-1910)

Марк
ТВЕН

РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с английского

Москва
«ОЛМА-ПРЕСС»
2000

УДК 821
ББК 84(7Сое)
Т261

Художник Ф. БАРБЫШЕВ

Составитель А. СТАРЦЕВ

Твен М.
Т261 Режьте, братцы, режьте: Сб. рассказов: Пер. с англ. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 349 с.: ил. — (Имена. Классика).
ISBN 5-224-01413-1

УДК 821
ББК 84(7Сое)

© Перевод. Н. Волжина, И. Гурова, Н. Дарузес, Н. Емельянникова, М. Литвинова, Т. Озерская, Н. Тренева, А. Старцев, 2000
© Издание. Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2000
© Оформление. Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2000

ISBN 5-224-01413-1

ЗНАМЕНИТАЯ СКАЧУЩАЯ ЛЯГУШКА ИЗ КАЛАВЕРАСА

По просьбе одного приятеля, который прислал мне письмо из восточных штатов, я навестил добродушного старого болтуна Саймона Уилера, навел, как меня просили, справки о приятеле моего приятеля Леонидасе У. Смайли и о результатах сообщаю ниже. Я питаю смутное подозрение, что никакого Леонидаса У. Смайли вообще не существовало, что это миф, что мой приятель никогда не был знаком с таким персонажем и рассчитывал на то, что, когда я начну расспрашивать о нем старика Уилера, он вспомнит своего богомерзкого Джима Смайли, пустится о нем рассказывать и надоест мне до полусмерти скучнейшими воспоминаниями, столь же длинными, сколь утомительными и никому не нужными. Если такова была его цель, она увенчалась успехом.

Я застал Саймона Уилера дремлющим у печки в полуразвалившемся кабачке захудалого рудничного поселка Ангел и имел случай заметить, что он толст и лыс и что его безмятежная физиономия выражает подкупающее благодушие и простоту. Он проснулся и поздоровался со мной. Я сказал ему, что один из моих друзей поручил мне справиться о любимом товарище его детства, Леонидасе У. Смайли, о его преподобии Леонидасе У. Смайли, молодом проповеднике слова божия, который, по слухам, жил одно время в Калаверасе, в по-

селке Ангел. Я прибавил, что буду весьма обязан мистеру Уилеру, если он сможет мне что-нибудь сообщить о его преподобии Леонидасе У. Смайли.

Саймон Уилер загнал меня в угол, загородил стулом, уселся на него и пошел рассказывать скучнейшую историю, которая следует ниже. Он ни разу не улыбнулся, ни разу не нахмурился, ни разу не переменил того мягко журчащего тона, на который настроился с самой первой фразы, ни разу не проявил ни малейшего волнения; весь его бесконечный рассказ был проникнут поразительной серьезностью и искренностью, и это ясно показало мне, что он не видит в этой истории ничего смешного или забавного, относится к ней вовсе не шутя и считает своих героев ловкачами самого высокого полета. Я предоставил ему рассказывать по-своему и ни разу его не прервал.

— Его преподобие Леонидас У... гм... его преподобие... Ле... Да, был тут у нас один, по имени Джим Смайли, зимой сорок девятого года, а может быть, и весной пятидесятого, что-то не припомню как следует, хотя вот почему я думаю, что это было зимой или весной, — помнится, большой желоб был еще недостроен, когда Смайли появился в нашем поселке; во всяком случае, чудак он был порядочный: вечно держал пари по поводу всего, что ни попадется на глаза, лишь бы нашелся охотник поспорить с ним, а если не находился, он сам держал против. На что угодно, лишь бы другой согласился держать пари, а за ним дело не станет; все что угодно, лишь бы держать пари, он на все согласен. И ему везло, необыкновенно везло, он почти всегда выигрывал. Он-то был всегда наго-

тове и поджидал только удобного случая; о чем бы ни зашла речь, Смайли уж тут как тут и предлагает держать пари и «за» и «против», как вам угодно. Идут конские скачки — он в конце концов либо загребет хорошие денежки, либо проиграется в пух и прах; собаки дерутся — он держит пари; кошки дерутся — он держит пари; петухи дерутся — он держит пари; да чего там, сядут две птицы на забор — он и тут держит пари: которая улетит раньше; идет ли молитвенное собрание — он опять тут как тут и держит за пастора Уокера, которого считал лучшим проповедником в наших местах, — и, надо сказать, не зря; к тому же и человек, этот пастор, был хороший. Да чего там, стоит ему увидеть, что жук ползет куда-нибудь, — он сейчас же держит пари: скоро ли этот жук доползет до места, куда бы тот ни полз; и если вы примете пари, он за этим жуком пойдет хоть в Мексику, а уж непременно дознается, куда он полз и сколько времени пробыл в дороге. Тут много найдется ребят, которые знали этого Смайли и могут о нем порассказать. Ему было все нипочем, он готов был держать пари на что угодно — такой отчаянный. У пастора Уокера как-то заболела жена, долго лежала больная и уж по всему было видно, что ей не выжить; и вот как-то утром входит пастор. Смайли — сейчас же к нему и спрашивает, как ее здоровье; тот говорит, что ей значительно лучше, благодарение господу за его бесконечное милосердие, — дело идет на лад, с помощью божией она еще поправится; а Смайли как брякнет, не подумавши: «Ну, а я ставлю два с половиной против одного, что помрет».

У этого самого Смайли была кобыла. Наши ребята звали ее «Тише едешь — дальше будешь», — разумеется, в шут-

ку, на самом деле она вовсе была не так плоха и частенько брала Джиму призы, хоть и не из самых резвых была лошадка и вечно болела, то астмой, то чахоткой, то собачьей чумой, то еще чем-нибудь. Дадут ей, бывало, двести — триста шагов форы, а потом обгоняют, но к самому концу скачек она, бывало, до того разойдется, что удержу нет, и брыкается, и становится на дыбы, и бьет копытами, и закидывает ноги и кверху, и направо, и налево, и такую, бывало, поднимет пыль и такой шум — и кашляет, и чихает, и фыркает, — зато всегда ухитряется прийти к столбу почти на голову вперед, хоть меряй, хоть не меряй.

А еще был у него щенок бульдог, самый обыкновенный с виду, посмотреть на него — гроша ломаного не стоит, только на то и годен, чтобы шляться да вынюхивать, где что плохо лежит. А как только поставят деньги на кон — откуда что возьмется, совсем не тот пес: нижняя челюсть выпятится, как пароходная корма, зубы оскалятся и заблестят, как огонь в топке. И пусть другая собака его задирает, треплет, кусает сколько ей угодно, пусть швыряет на землю, Эндрью Джексон — так звали щенка, — Эндрью Джексон и ухом не поведет да еще делает вид, будто доволен и ничего другого не желал, а тем временем противная сторона удваивает да удваивает ставки, пока все не поставят деньги на кон; тут он сразу вцепится другой собаке в заднюю ногу да так и замрет — не грызет, понимаете ли, а только вцепится и повиснет, и будет висеть хоть целый год, пока не одолеет. Смайли всегда ставил на него и выигрывал, пока не нарвался на собаку, у которой не было задних ног, потому что их отпилило круглой пилой. Дело зашло довольно далеко, и деньги уже поставили на кон, и Эндрью Джексон уже собрался вцепиться

в свое любимое место, как вдруг видит, что его надули и что другая собака, так сказать, натянула ему нос; он сначала как будто удивился, а потом совсем приуныл и даже не пытался одолеть ту собаку, так что трепка ему досталась изрядная. Он взглянул разок на Смайли, как будто говоря, что сердце его разбито и Джим тут сам виноват — зачем подсунул ему такую собаку, у которой задних ног нет, даже вцепиться не во что, а в драке он только на это и рассчитывал; потом отошел, хромая, в сторонку, лег на землю и помер. Хороший был щенок, этот Эндрью Джексон, и составил бы себе имя, останься он жив, талантливый был пес, настоящей закваски. Я-то это знаю, вот только ему случая не было показать себя, а не всякий поймет, что без таланта ни один пес не смог бы так драться в подобных затруднительных обстоятельствах. Мне всегда обидно делается, как только вспомню эту его последнюю драку и чем она кончилась.

Так вот, у этого самого Смайли были и терьеры-крысоловы, и петухи, и коты, и всякие другие твари, видимо-невидимо, — на что бы вы ни вздумали держать пари, он все это мог вам предоставить.

Как-то раз поймал он лягушку, принес домой и объявил, что собирается ее воспитывать; и ровно три месяца ничего другого не делал, как только сидел у себя на заднем дворе и учил эту лягушку прыгать. И чтобы вы думали — ведь выучил. Даст ей, бывало, легонького щелчка сзади, и глядишь — уже лягушка перевертывается в воздухе, как оладья на сковородке; перекувыркнется разик, а то и два, если возьмет хороший разгон, и как ни в чем не бывало станет на все четыре лапы, не хуже кошки. И так он ее здорово выучил ловить мух — да еще по-

стоянно заставлял упражняться, — что ей это ровно ничего не стоило: как увидит муху, так и словит. Смайли говаривал, что лягушкам только образования не хватает, а так они на все способны, и я этому верю. Бывало, — я это своими глазами видел, — посадит Дэниела Уэбстера — лягушку так звали, Дэниел Уэбстер, — на пол, вот на этом самом месте, и крикнет: «Мухи, Дэниел, мухи!» — и не успеешь моргнуть глазом, как она подскочит и слизнет муху со стойки, а потом опять плюхнется на пол, словно комок грязи, и сидит себе как ни в чем не бывало, почесывает голову задней лапкой, будто ничего особенного не сделала и всякая лягушка это может. А уж какая была умница и скромница при всех своих способностях, другой такой лягушки на свете не сыскать. А когда, бывало, дойдет до прыжков в длину по ровному месту, ни одно животное ее породы не могло с ней сравняться. По прыжкам в длину она была, что называется, чемпион, и когда доходило до прыжков, Смайли, бывало, ставил на нее все свои деньги до последнего цента. Смайли страх как гордился своей лягушкой, — и был прав, потому что люди, которые много ездили и везде побывали, в один голос говорили, что другой такой лягушки на свете не видано.

Смайли посадил эту лягушку в маленькую клетку и, бывало, носил ее в город, чтобы держать на нее пари. И вот встречает его с этой клеткой один приезжий, новичок в нашем поселке, и спрашивает:

— Что это такое может быть у вас в клетке?

А Смайли отвечает этак равнодушно:

— Может быть, и попугай, может быть, и канарейка,

только это не попугай и не канарейка, а всего-навсего лягушка.

Незнакомец взял у него клетку, поглядел, повертел и так и этак и говорит:

— Гм, что верно, то верно. А на что она годится?

— Ну, по-моему, для одного дела она очень даже годится, — говорит Смайли спокойно и благодушно, — она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец опять взял клетку, долго-долго ее разглядывал, потом отдал Смайли и говорит довольно развязно:

— Ну, — говорит, — ничего в этой лягушке нет особенного, не вижу, чем она лучше всякой другой.

— Может, вы и не видите, — говорит Смайли. — Может, вы знаете толк в лягушках, а может, и не знаете; может, вы настоящий лягушатник, а может, просто любитель, как говорится. Но у меня-то, во всяком случае, есть свое мнение, и я ставлю сорок долларов, что она может обскакать любую лягушку в Калаверасе.

Незнакомец призадумался на минутку, а потом вздохнул и говорит этак печально:

— Что ж, я здесь человек новый, и своей лягушки у меня нет, а будь у меня лягушка, я бы с вами держал пари.

Тут Смайли и говорит:

— Это ничего не значит, ровно ничего, если вы подержите мою клетку, я сию минуту сбегаю, достану вам лягушку.

И вот незнакомец взял клетку, приложил свои сорок долларов к деньгам Джима и уселся дожидаться.

Долго он сидел и думал, потом взял лягушку, раскрыл

ей рот и закатил ей туда хорошую порцию перепелиной дроби чайной ложечкой, набил ее до самого горла и посадил на землю. А Смайли побежал на болото, долго там барахтался по уши в грязи, наконец поймал лягушку, принес ее, отдал незнакомцу и говорит:

— Теперь, если вам угодно, поставьте ее рядом с Дэниелом, чтобы передние лапки у них приходились вровень, а я скомандую. — И скомандовал: — Раз, два, три — пошел!

Тут они подтолкнули своих лягушек сзади, новая проворно запрыгала, а Дэниел дернулся, приподнял плечи, вот так — на манер француза, а толку никакого, с места не может сдвинуться, прирос к земле, словно каменный, ни туда ни сюда, сидит, как на якоре. Смайли порядком удивился, да и расстроился тоже, а в чем дело — ему, разумеется, невдомек.

Незнакомец взял деньги и пошел себе, а выходя из дверей, показал большим пальцем через плечо на Дэниела — вот так — и говорит довольно нагло:

— А все-таки, — говорит, — не вижу я, чем эта лягушка лучше всякой другой, ничего в ней нет особенного.

Смайли долго стоял, почесывая в затылке и глядя вниз на Дэниела, а потом, наконец, и говорит:

— Удивляюсь, какого дьявола эта лягушка отстала, не случилось ли с ней чего-нибудь — что-то уж очень ее раздуло, на мой взгляд. — Он ухватил Дэниела за загривок, приподнял и говорит: — Залягай меня кошка, если она весит меньше пяти фунтов, — перевернул лягушку кверху дном, и посыпалась из нее дробь — целая пригоршня дроби. Тут он догадался, в чем дело, и света не взвидел, —

пустился было догонять незнакомца, а того уж и след простыл. И...

Тут Саймон Уилер услышал, что его зовут со двора, и встал посмотреть, кому он понадобился. Уходя, он обернулся ко мне и сказал:

— Посидите тут пока и отдохните, я только на минуточку.

Но я, с вашего позволения, решил, что из дальнейшей истории предприимчивого бродяги Джима Смайли едва ли узнаю что-нибудь о его преподобии Леонидасе У. Смайли, и потому не стал дожидаться.

В дверях я столкнулся с разговорчивым Уилером, и он, ухватив меня за пуговицу, завел было опять:

— Так вот, у этого самого Смайли была рыжая корова, и у этой самой коровы не было хвоста, а так, обрубок вроде банана, и...

Однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я откланялся и ушел.

РАССКАЗ О ДУРНОМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для воскресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, мальчика, о котором я хочу рассказать, звали Джим.

Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая рада бы успоко-

иться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть больные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песенкой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни — ни чахотки, ни чего-либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком.

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? Ведь это грех! Куда попадает дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй матери?» И Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери, полный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе. Варенье

он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он добавил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что «старуха взбесится и взвоет», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его, — и плакать пришлось ему, а не ей.

Да, удивительно странный мальчик был этот Джим: с ним все происходило не так, как с дурными мальчиками Джеймсами в книжках.

Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подломился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он потом не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного! Он нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки он заранее припас камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная история! Никогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с картинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для воскресных школ таких историй не найдешь.

Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчика, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда

не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал из шапки и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорченный учитель обвинил в краже его и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дрожащие плечи, — не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподобный судья и не сказал, став в позу: «Не трогайте этого благородного мальчика! Вот стоит трепещущий от страха преступник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и, никем не замеченный, видел, как была совершена кража!» Нет, ничего этого не было, и Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставления проливающим слезы школьникам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды и поэтому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегушках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так бывает в книгах, а с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и не испортил все дело, и пай-мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что «терпеть не может слюнтяев». Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка!

Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на лодке — и не утонул! А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но, хотя и был

застигнут грозой, молния не поразила его! Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего рождества — не найдете ни одного такого случая! Никогда! Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые катаются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидываются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной.

Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жевательного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной настойкой — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стащив у отца ружье, он в праздник пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить! — девочка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась целехонька.

В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик,

где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.

Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка ворожит, везло в жизни так, как никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ.

СРЕДИ ДУХОВ

Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знавал в свое время шулера по имени Гэс Грэхем, которого застрелили на улице в одном городке в Иллинойсе. Поскольку во всем Сан-Франциско едва ли найдется второй человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, он хочет «подсунуть духам этого Грэхема — пусть пожуют». Молодой журналист принадлежит к Демократической партии и выражается энергично и неизящно, подобно всем Демократам. Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего покойного друга и, сложив записочку вчетверо, опустил ее в шляпу, в которой уже лежало не менее пятисот подобных же документов. Записки выва-

лили на стол, и женщина-медиум стала разворачивать их одну за другой и откладывать в сторону, каждый раз вопрошая:

— Этот дух присутствует? А этот? А этот?

Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал записку, вставал и обращался к усопшему. По прошествии некоторого времени какой-то дух ухватил медиума за руку и написал на бумаге: «Гэс Грэхем». Женщина-медиум принялась рыться в груде записок. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других, послышался стук: старый шулер узнал свою карту, видно, по рубашке. Член проверочной комиссии развернул записку, там стояло: «Гэс Грэхем». Я потребовал, чтобы мне показали записку. То была, без сомнения, записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивился: все Демократы с дьяволом накоротке. Молодой журналист поднялся со своего стула.

— Когда вы скончались? В тысяча восемьсот пятьдесят первом году? В тысяча восемьсот пятьдесят втором? В тысяча восемьсот пятьдесят третьем? В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом?

Дух: — Тук-тук-тук!

— От чего вы умерли? От холеры? От поноса? От дизентерии? От оспы? От укуса бешеной собаки? Насильственной смертью?

— Тук-тук-тук!

— Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили?

— Тук-тук-тук!

— Вы умерли в штате Миссисипи? В Кентукки?

В Нью-Йорке? На Сандвичевых островах? В Техасе? В Иллинойсе?

— Тук-тук-тук!

— В округе Адамс? В округе Мэдисон? В округе Рэндольф?

Было ясно, что усопшего шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду на память и ходил с козыря.

В это время из публики вышли два немца, один пожилой, а другой самоуверенный юнец, явно что-то задумавший. Он написал имена на бумажке. Затем юный Оллендорф задал вопрос, звучавший, примерно, так:

— Ist ein Geist heraus?[1] *(Бешеный хохот аудитории.)*

Три удара свидетельствовали, что Geist был heraus.

— Wollen sie schreiben[2] *(Снова хохот.).*

Три удара.

— Fünfzigstollenlinsiwfterowlickterhairowferfrowleinerühackfolderon?

Можете мне не верить, но дух бодро ответствовал: «Да!»

Веселье слушателей возрастало с каждым новым вопросом, и их пришлось строго предупредить, что если они не перестанут вести себя столь легкомысленно, опыты будут прекращены. Шум утих.

Немецкий дух был, по-видимому, совершенным профаном, не мог толком ответить на самые простые вопросы. Под конец юный Оллендорф, справившись с какими-то записями, попытался установить, когда этот дух умер.

---

[1] Явился ли дух? *(нем.)*

[2] Хотите писать? *(нем.)*

Дух путался, не мог точно сказать, умер он в 1811 или в 1812 году, что, впрочем, было не столь уж удивительно, учитывая, что протекло много лет. Наконец, он решился и выбрал вторую дату.

Игра! Юный Оллендорф вскочил на ноги в сильнейшем волнении. Он закричал:

— Тамы и шентельмены! Я написал имя челофека, который софсем шифой. Тух кофорит, што он умер ф фосемьсот тфенадцатом коту, а он шиф и стороф...

Женщина-медиум. Сядьте на место, сэр!

Оллендорф. Нет, я шелаю...

Женщина-медиум. Вы здесь не для того, чтобы произносить речи. Сядьте на место.

(Оллендорф между тем готовится к новой речи.)

Оллендорф. Этот тух опманыфает. Такофо туха софсем не существфует.

(Аудитория непрерывно аплодирует и хохочет.)

Женщина-медиум. Сядьте на место, сэр, и я дам сейчас объяснение.

И она дала объяснение. В ходе этого объяснения она нанесла юному Оллендорфу удар такой сокрушительной силы, что я нисколько не удивился бы, если бы немец вылетел вон, проломив по пути стенку. Она сказала, что он явился сюда, затаив в сердце обман, подвох и мошенничество, и что ему навстречу из царства теней вышел дух его же морального уровня. Женщина-медиум была исполнена искреннего негодования. Она дала нам понять, что преисподняя просто кишит подонками вроде юного Оллендорфа, и они ждут не дождутся малейшей возможности, чтобы по призыву таких Оллендорфов

выскочить, прикрываясь чужим именем, а потом писать и выстукивать всевозможную ересь. *(Взрыв хохота и аплодисменты.)*

Отважный Оллендорф не сложил, однако, оружия и готов был открыть ответный огонь, но аудитория разразилась противоречивыми криками:

— Сядь на место! — Нет, продолжай! — Пошел вон! — Мы тебя слушаем! — Стащите его с трибуны! — Держись, не робей! — А ну-ка сматывай удочки!

Женщина-медиум поднялась и сказала, что если Оллендорф не сядет на место, она покидает зал. Она ни за что не допустит, чтобы ее оскорбляли мошенническими проделками или насмехались над ее религиозными чувствами. Аудитория утихла, и укрощенный Оллендорф покинул трибуну.

Второй немец встал, в свою очередь, вызвал другого духа, задал ему несколько немецких вопросов и сказал, что ответы правильны. Женщина-медиум сообщила, что ни слова по-немецки не знает.

В это время какой-то тип подозвал меня поближе к эстраде и спросил, не спирит ли я. Я сказал, что нет, не спирит. Тогда он спросил, не враждебен ли я спиритизму. Я сказал, что не более чем сотни других не верящих в духов. Я добавил, что не в силах уверовать в то, что мне непонятно, а то, что здесь происходит, я понять не могу.

Тогда он сказал, что, пожалуй, причина сегодняшней робости духов лежит не во мне; однако же явно, что происходит истечение негативных флюидов, — он сразу это приметил — сильнейшее истечение негативных флюидов и как раз с моей стороны. Я намекнул, что виною, навер-

но, мой спутник, и добавил, что считаю отъявленными мерзавцами всех, кто повинен в истечении этих гнусных негативных флюидов. Мои объяснения, по-видимому, удовлетворили маньяка, и он отпустил меня с миром.

У меня был когда-то приятель, который ушел в царство духов, а может быть, к черту в пекло — словом, в одно из тех мест, и мне захотелось узнать о нем. Но обратиться с грешным земным вопросом к тени умершего было так жутко, что я долго не мог открыть рот. Наконец, трепеща от волнения, я встал и спросил еле слышно, прерывающимся голосом:

— Здесь ли дух Джона Смита?

(Я не подумал о том, что со Смитами шутки плохи. Стоит позвать одного, и легионы их ринутся из глубины преисподней, чтобы сказать вам: «Привет!»)

— Трам-трам-тарарам!

Так я и знал! Все племя почивших без покаяния Смитов от Сан-Франциско и до самого ада атаковало маленький столик единовременно. Я был озадачен, точнее сказать, ошарашен. Зал, однако, потребовал, чтобы я задавал вопросы, и я спросил:

— От чего вы умерли?

Смиты перечислили все болезни и все несчастные случаи, какие могут привести к преждевременной смерти.

— Где вы умерли?

Они умерли во всех географических пунктах, какие я мог назвать.

— Счастливы ли вы?

— Нет! — ответствовали решительно и единодушно покойные Смиты.

— Тепло ли вам там?

Один из грамотеев Смитов завладел рукой медиума и написал: «Нет слов, чтобы выразить, как нам тепло!»

— Есть ли еще Смиты там, откуда вы появились?

— Чертова уйма!

Мне почудилось, что тень отвечавшего Смита хихикнула, отпустив свою незатейливую остроту.

— Сколько Смитов явилось сюда?

— Восемнадцать миллионов. Очередь тянется до западной границы Китая.

— А сколько всего Смитов среди жителей преисподней?

— Подавляющее большинство. Так что ради удобства Владыка ада велел именовать каждого новоприбывшего Смитом. Кто не Смит, должен об этом сообщить. Но такие случаи редки.

— Как называют погибшие души свое мрачное обиталище?»

— Смитсоновский институт!

Наконец, я набрел на нужного мне Смита — того «самого доброго незабвенного друга, и узнал от него, что он погиб насильственной смертью. Жена заговорила его до смерти. Так я и думал. Бедный мой друг!

Потом появился еще один Смит. Один из присутствующих сказал, что это его Смит, и стал задавать вопросы. Выяснилось, что и этот Смит погиб насильственной смертью. На земле он исповедовал весьма путаные религиозные взгляды. Был помесью универсалиста и унитарианца. Но теперь во всем разобрался, к полному своему удовольствию. Мы стали его расспрашивать, и добродушный

старик охотно вступил в беседу. Для духа он был просто болтун. Сказал, что тело его дематериализовалось, и пуля теперь может пройти сквозь него, не оставив за собой даже дырки. Дождь тоже проходит насквозь, и мокроты он не чувствует (если так, он не может судить о дожде). То, что мы называем раем и адом, сказал он, не более, чем состояние души; в раю умершие радуются, а в аду мучаются угрызениями совести. Сказал, что он лично доволен, чувствует себя превосходно. Отказался ответить, кем был на земле — грешником или же праведником. (Непромокаемый, дематериализованный старый пройдоха! Понял, что я задал свой вопрос неспроста, хочу выяснить, есть ли шанс у меня устроиться не хуже, чем он.) Сказал, что не сидит ни минуты без дела, помогает другим и учится сам. Сказал, что у них имеются сферы — степени совершенствования; что он при его успехах уже во второй сфере. (Полегче, старина, не спеши, у тебя в запасе целая вечность.) Он не сумел объяснить, сколько там всего сфер, лично я думаю, их — миллионы. Если человек перескакивает с одной на другую с такой резвостью, как этот старый универсалист, то, не сравнявшись по возрасту даже с Сезострисом и прочими мумиями, он пройдет их великое множество и в преддверии вечности потеряет им счет. Старик набирает, по-моему, скорость, не соответствующую ни обстановке, в которой находится, ни запасу времени, которым располагает. Еще он сказал, что духи не чувствуют ни жара, ни холода. (Это опровергает мои правоверные представления об аде, о раскаленных сковородках и кипящей смоле.) Сказал, что духи общаются между собой только мысленно, языка не имеют; сказал,

что деление на мужчин и на женщин по-прежнему остается, и прочее в том же роде.

Старикан писал и беседовал с нами не менее часа, и по его быстрым толковым ответам было видно, что он не тратит там времени зря, повсюду сует свой нос и старается выяснить что к чему, а если чего не поймет, не успокаивается, — он сам нам об этом сказал, — а ищет какую-нибудь знакомую душу, которая может поделиться с ним накопленным опытом. Неудивительно, что он в курсе всех дел. Я хотел бы в заключение отметить его редкую любезность и обязательность и пожелать, чтобы он преуспевал так и далее, пока не усядется на макушке самой высшей, последней сферы и не достигнет таким образом конечного совершенства.

ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ

Не так давно я ездил в Сент-Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после пересадки в Террехот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного вида джентльмен лет сорока пяти — пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником. Услышав, что я из Вашингтона, он тут же принялся расспрашивать меня о видных государственных деятелях, о делах в Конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости

парламентской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора:

— Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить...

При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они навеяли ему какое-то очень приятное воспоминание», — подумал я. Но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело. Он повернулся ко мне и сказал:

— Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте внимательно и обещайте не перебивать.

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до последнего было проникнуто искренностью и большим чувством.

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА

Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В поезде было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настроение было превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наиприятнейшим; и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам предстоит пережить нечто поистине кошмарное.

В одиннадцать часов вечера поднялась метель. Проехали крохотное селение Уэлден, и за окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встретишь жилья на многие мили вплоть до самого Джубили-Сеттльмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине — ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд замедлил ход, — чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых валов, встававших на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности. Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья.

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» — пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскакивали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной валил снег, но мы знали: секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски — все, чем было можно разгребать снег, пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина: горстка людей отчаянно воюет с растущими на глазах сугробами, суетящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи, то возникают в красном, тревожном свете от фонаря локомотива.

Потребовался лишь один короткий час, чтобы мы поняли всю тщетность наших усилий. Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наметал на дороге десятки новых. Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паровичка лопнула продольная ось. Расчисти мы все полотно, мы и тут не смогли бы двинуться с места. Выбившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерзнуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. В конце концов все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. Значит, на помощь рассчитывать нечего: посылай не посылай — все без толку. Остается одно: терпеливо и покорно ждать чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах.

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слышался приглушенный шепот; пламя в лампах стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие тени; и несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон.

Бесконечная ночь длилась целую вечность, — нам и в самом деле казалось, что ей не будет конца, — медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, студеный рассвет. Становилось светлее, пассажиры

задвигались, закопошились: тот поправляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безрадостная! Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи, только беспредельная белая пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег и мириады взвихренных снежных хлопьев густой пеленой застилают небо.

Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. Еще одна томительная, бесконечная ночь и голод.

Еще один рассвет — еще один день молчания, тоски, изнуряющего голода, бессмысленного ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью в тяжелом сне — праздничные столы, ломящиеся от яств; утром — горькое пробуждение и снова муки голода.

Наступил четвертый день и прошел; наступил пятый! Пять дней в этом страшном заточении! В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что заставляло содрогнуться: взгляд выдавал то, пока еще неосознанное, что поднималось в каждой груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить.

Миновал шестой день, рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаявшимися людьми, на которых уже легла тень смерти. И час пробил! То неосознанное, что росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждых уст. Слишком большое испытание для человеческой природы, дольше терпеть невмоготу. Ричард Х. Гастон из Миннесоты, длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет

говорить, и приготовились: всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко; в глазах, только что горевших безумием, лишь сосредоточенное, строгое спокойствие.

— Джентльмены! Медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным.

Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из штата Иллинойс:

— Господа, я выдвигаю кандидатуру преподобного Джеймса Сойера из штата Теннесси.

Мистер У. Р. Адамс из штата Индиана сказал:

— Предлагаю мистера Дэниела Слоута из Нью-Йорка.

Мистер Чарльз Д. Лэнгдон. Выдвигаю мистера Сэмюела А. Боуэна из Сент-Луиса.

Мистер Слоут. Джентльмены, я хотел бы отвести свою кандидатуру в пользу мистера Джона А. Ван-Ностранда-младшего из Нью-Джерси.

Мистер Гастон. Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовлетворить.

Мистер Ван-Ностранд возражал, и просьбу Дэниела Слоута не удовлетворили. С самоотводом выступили также господа Сойер и Боуэн; самоотвод их на том же основании не был принят.

Мистер А. Л. Баском из штата Огайо. Предлагаю подвести черту и перейти к тайному голосованию.

Мистер Сойер. Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения собрания. Это про-

тив всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во-первых, избрать председателя, затем в помощь ему заместителей. Вот тогда мы сможем должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парламентское установление нами не нарушено.

Мистер Билл из Айовы. Господа, я протестую. Не время и не место разводить церемонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все присутствующие; и я, со своей стороны, заявляю, что надо без промедления приступить к голосованию и избрать кого-нибудь одного, хотя... впрочем, можно и сразу нескольких. Вношу следующую резолюцию...

Мистер Гастон. По резолюции могут быть возражения; кроме того, согласно процедуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вызовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется джентльмену из Нью-Джерси.

Мистер Ван-Ностранд. Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным...

Мистер Морган из Алабамы *(прерывая)*. Поддерживаю предложение мистера Сойера!

Предложение было поставлено на голосование, и

прения, как полагается, были прекращены. Предложение прошло, председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера Блейка, в комиссию по выдвижению кандидатур вошли господа Холкомб, Дайэр и Болдуин, для содействия работе комиссии был избран Р. М. Хоулман, по профессии поставщик продовольственных товаров.

Объявили получасовой перерыв, комиссия удалилась на совещание. По стуку председательского молотка участники заседания вновь заняли места, комиссия зачитала список. В числе кандидатов оказались господа Джордж Фергюссон из штата Кентукки, Люсьен Херрман из штата Луизиана и У. Мессик, штат Колорадо. Список в целом был одобрен.

Мистер Роджерс из штата Миссури. Господин председатель, я вношу следующую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Херрмана внести в список всем известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент-Луиса. Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнению высокие моральные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы, я далек от этого. Я отношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял в весе за время нашего пребывания здесь значительно более других; никто из нас не имеет права закрывать глаза на тот факт, господа, что комиссия — не знаю, просто ли по халатности, или из ка-

ких-либо неблаговидных побуждений — пренебрегла своими обязанностями и представила на голосование джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питательных веществ.

Председатель. Мистер Роджерс, лишаю вас слова. Я не могу допустить, чтобы честность членов комиссии подвергали сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присутствующих по этой поправке?

Мистер Холлидэй из штата Виргиния. Вношу еще одну поправку. Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придираться к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересует нас прежде всего, объем, вес и масса — теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже гений. Я настаиваю на поправке.

Мистер Морган (*горячась*). Господин председатель, я самым решительным образом протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма немолод. Объем его велик, не спорю, но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии будет довольно бульона, я лично предпочитаю более плотную пищу. Уж не издевается ли он над нами, он что, хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над наши-

ми страданиями, подсовывая нам этого орегонского призрака? Я спрашиваю его, как можно смотреть на эти умоляющие лица, в эти полные скорби глаза, как можно слышать нетерпеливое биение наших сердец и в то же время навязывать нам этого заморенного голодом обманщика. Я спрашиваю мистера Холлидэя: можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших прошлых страданиях, о нашем беспросветном будущем, — можно ли, я спрашиваю, так упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезнями, засохшую обезьяну, поступившую к нам с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, господа, ни в коем случае нельзя. (*Аплодисменты.*)

Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касается первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гарриса: «за» голосовали все; «против» был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосовать еще раз: хотелось избрать первого кандидата единогласно; это, однако, не удалось, ибо и на сей раз Гаррис голосовал против.

Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого-нибудь на завтрак. Предложение приняли.

Стали голосовать. Мнения присутствующих разделились: половина поддерживала кандидатуру мистера Фергюссона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мистера Мессика, как более крупного по объе-

му. Президент высказался в пользу последнего, голос его был решающим. Такой оборот дела вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонников потерпевшего поражение Фергюссона, был поднят вопрос о новом голосовании, но кто-то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлись.

Подготовка к ужину завладела вниманием фергюссоновской фракции, и они позабыли до поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущенную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис подан, и все их обиды как рукой сняло.

В качестве столов мы использовали спинки сидений; с сердцами, исполненными благодарности, рассаживались мы за ужин, великолепие которого превзошло все созданное нашей фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких часов! Еще в полдень — тупая, безысходная скорбь, голод, лихорадочное отчаяние; а сейчас — какая сладкая истома на лицах, в глазах признательность, — блаженство такое полное, что нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жизни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы. Но теперь ни снег, ни вьюга были нам не страшны. Мне понравился Гаррис. Вероятно, его можно было приготовить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни один человек не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик был тоже недурен, правда, с некоторым привкусом. Но Гаррис... я безусловно отдаю ему предпочтение за

высокую питательность и какое-то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше чем мумия. Мясо жесткое, нежирное; такое жесткое, что не разжуешь! Вы и представить себе этого не можете, вы просто никогда ничего подобного не ели.

— Простите, вы хотели сказать...

— Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта, по имени Уокер. Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше всяких похвал. Еще и сейчас как вспомню, слюнки текут. Разве что самую малость непрожаренный, а так очень, очень хорош. На следующий день к завтраку был Морган из Алабамы. Прекрасной души человек, ни разу не приходилось отведывать подобного: красавец собой, образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков — словом, истинный джентльмен. Да-да, истинный джентльмен, и притом необыкновенно сочный. На ужин подали того самого древнего старца из Орегоны. Вот уж кто и впрямь оказался негодным обманщиком — старый, тощий, жесткий, как мочала, трудно даже поверить. Я не выдержал:

— Джентльмены, — сказал я, — вы как хотите, а я подожду следующего.

Ко мне присоединился Граймс из Иллинойса.

— Господа, — сказал он, — я тоже подожду. Когда изберут человека, имеющего хоть какое-нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам.

Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона нику-

да не годится, и, чтобы поддержать доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были объявлены новые выборы, и нашим избранником на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. То-то мы полакомились! Ну, а дальше мы съели одного за другим Дулиттла, Хокинса, Макэлроя (тут были неудовольствия — слишком мал и худ), потом Пенрода, двух Смитов, Бейли (у Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати, но в остальном он был неплох), потом съели юношу-индейца, потом шарманщика и одного джентльмена по имени Бакминстер — прескучнейший был господин, без всяких достоинств, к тому же весьма посредственного вкуса, хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь.

— Ах, так, значит, помощь пришла?

— Ну да, пришла — в одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот день выбор пал на Джона Мэрфи, и, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мэрфи вернулся домой вместе с нами цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку. А вернувшись, женился на вдове мистера Гарриса...

— Гарриса?!

— Ну да, того самого Гарриса, что был первым нашим избранником. И представьте — счастлив, разбогател, всеми уважаем! Ах, до того романтично, прямо как в книгах пишут. А вот и моя остановка. Желаю вам счастливого пути. Если выберете время, приезжайте ко мне на денек-другой, буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Меня прямо-таки влечет к вам. Я полюбил вас, по-

верьте, не меньше Гарриса. Всего вам хорошего, сэр. Приятного путешествия.

Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен, как никогда в жизни. И вместе с тем в глубине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз подирал по коже, как только он устремлял на меня свой алчный взгляд, а когда я услыхал, что пришелся ему по вкусу и что в его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса — мир праху его, — меня буквально объял ужас.

Я был в полном смятении. Я поверил каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью; но ее страшные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок свои расстроенные мысли. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его:

— Кто этот человек?

— Когда-то он был членом конгресса, и притом всеми уважаемым. Но однажды поезд, в котором он куда-то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так изголодался, перемерз и обморозился, что заболел и месяца два-три был не в своем уме. Сейчас он ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея: стоит ему коснуться своей любимой темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию. Он бы и сейчас никого не пощадил, да остановка помешала. И все имена помнит назубок, никогда не собьется. Расправившись с последним, он обычно заканчивает свою речь так: «Подошло время вы-

бирать очередного кандидата на завтрак; ввиду отсутствия других предложений на сей раз был избран я, после чего я выступил с самоотводом, — возражений, естественно, не последовало, просьба моя была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами».

Как легко мне снова дышалось! Значит, все рассказанное — это всего-навсего безобидные бредни несчастного помешанного, а не подлинное приключение кровожадного людоеда.

ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ

Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: «Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью».

«Биржа»

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на треногом стуле и задрав ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленный ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с

дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навыпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннессийской печати». Вот что получилось у меня:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относительно Баллигэкской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку.

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы», прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, что Ван-Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах.

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего города никольсоновской мостовой. «Ежедневное Ура» очень энергично поддерживает это начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом».

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал:

— Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

— Ага, — оказал он, — это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба.

— А печка-то совсем развалилась, — сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.

— Ну, не важно. На что она в такую погоду? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и помарками, что родная мать ее не узнала бы.

Вот что получилось у него:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения» опять, по-видимому, стараются втереть очки нашему рыцарски-благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия девятнадцатого века — Баллигэкской железной дороги.

Мысль, будто бы Баззардвилл намереваются обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее — в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и подавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую они вполне заслужили.

Этот осел Блоссом из хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утреннего Воя», по своей неудержимой склонности к вранью, сбрехнул, будто бы Ван-Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее; а этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость.

Блезерсвиллцам понадобилась вдруг никольсоновская мостовая — им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а воображает, будто говорит дело».

— Вот как надо писать: с перцем и без лишних слов! А от таких слюнявых статеек, как ваша, всякого тоска возьмет.

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядком хватило по спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний.

Редактор сказал:

— Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится.

Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке.

Он сказал:

— Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку?

— Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножки. Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блезерскайтом Текумсе?

— Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счетец. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем.

— Мне еще нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте!

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось — пуля в плечо. При третьем выстреле оба

джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное дело, и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю.

Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел.

Редактор обернулся ко мне и сказал:

— Я жду гостей к обеду, и мне нужно закончить приготовления. Сделайте одолжение, прочтите корректуру и примите посетителей.

Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить, — я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя.

Он продолжал:

— Джонс будет здесь в три — отстегайте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше — вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четырем — застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку позабористее — всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пули и порох вон там в углу,

бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами что-нибудь случится, зайдите к Ланцету — это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявления бесплатно.

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бранились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца — и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками.

Он сказал:

— Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете.

Я сказал:

— Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку. Но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства — человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете. Энергический стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно — оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, согласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы уходите обедать, а Джонс является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с непринужденностью старого знакомого сдирает с меня скальп, и через какие-нибудь пять минут проходимцы со всей округи являются сюда в военной

раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской журналистики, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда — они явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело — оно не по мне.

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.

ВЕНЕРА КАПИТОЛИЙСКАЯ

Глава первая

СТУДИЯ ХУДОЖНИКА В РИМЕ

— О Джордж, я так люблю тебя!

— Да благословит тебя бог, Мэри, я это знаю. Скажи, почему так упрямится твой отец?

— Джордж, он не злой человек, но искусство для него пустой звук, он знает только свою бакалею. Он боится, что ты меня заморишь голодом.

— Черт бы его побрал, он не лишен проницательности. Отчего я не бакалейщик, богатеющий со дня на день, а всего-навсего вдохновенный скульптор, которому нечего есть?

— Не приходи в отчаяние, милый Джордж, он забудет все свои предрассудки, как только у тебя будет пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч чертей! Дитя мое, мне даже за стол и квартиру нечем заплатить!

Глава вторая

ЧАСТНАЯ КВАРТИРА В РИМЕ

— Уважаемый, все эти разговоры бесполезны. Я против вас ничего не имею, но не могу допустить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию из любви, искусства и голода. Ведь, сколько я понимаю, вы ничего другого ей предложить не можете.

— Сэр, я беден, в этом вы не ошиблись. Но разве слава ничего не стоит? Достопочтенный Беллами Фудл из Арканзаса говорит, что моя статуя Америки представляет собой замечательное произведение скульптуры; он уверен, что мое имя со временем прославится.

— Чепуха! Что может понимать этот арканзасский осел? Слава — пустяки, а вот я желал бы знать рыночную цену вашего мраморного пугала. Вы корпели над ним полгода, а не можете выручить за него и ста долларов. Нет,

сэр! Покажите мне пятьдесят тысяч наличными, и я выдам за вас мою дочь, а иначе она выйдет за молодого Симпера. Даю вам полгода сроку. Всего хорошего, сэр!

— Ах, я несчастный!

Глава третья

В СТУДИИ

— Джон, друг моего детства, я самый несчастный из людей!

— Простофиля ты, вот ты кто!

— Теперь мне некого больше любить, кроме моей статуи Америки. И гляди, даже она мне нисколько не сочувствует, это видно по ее холодному, каменному лицу — так прекрасна и так бессердечна!

— Ты болван!

— Ох, Джон, что ты!

— Да, охай больше! Ведь тебе же дали шесть месяцев сроку на то, чтобы достать эти деньги?

— Не смейся над моими страданиями, Джон. Даже если бы мне дали шесть веков, что из этого? Ведь это не поможет человеку без имени, без капитала, без друзей.

— Тупица! Плакса! Размазня! Шесть месяцев на то, чтобы достать деньги, когда и пяти за глаза довольно!

— Ты с ума сошел!

— Шесть месяцев! Куда столько! Предоставь-ка дело мне. Я добуду тебе деньги.

— Что ты хочешь сказать, Джон? Как же ты достанешь такую огромную сумму?

— Согласен ты предоставить дело мне и ни во что не

вмешиваться? Обещай во всем меня слушаться и не противоречь мне, что бы я ни сделал.

— У меня голова кругом идет, я просто ошеломлен, но даю тебе слово...

Джон схватил молоток и одним решительным взмахом отбил нос Америке. Еще взмах — два пальца отлетели и упали на пол, еще взмах — отскочил кончик уха, еще взмах — и несколько пальцев на ноге были покалечены, еще взмах — и вся левая нога до колена была отбита и валялась на полу.

Джон надел шляпу и ушел.

Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел на изуродованное произведение искусства, потом как подкошенный свалился на пол, корчась в судорогах.

Скоро Джон вернулся в коляске, забрал скульптора с разбитым сердцем и статую с отбитой ногой и увез их, преспокойно что-то насвистывая. Он высадил художника у своего дома, а статую повез дальше, на Виа Квириналис.

Глава четвертая

В СТУДИИ

«Сегодня в два часа истекают данные мне шесть месяцев. Какая мука! Погибла вся моя жизнь. Лучше бы мне умереть. Вчера я не ужинал, а сегодня не завтракал. Я не смею даже войти в харчевню. А как хочется есть! Лучше об этом не думать. Сапожник не дает мне прохода, портной тоже, хозяин преследует меня по пятам. Несчастный я человек! Джона я так и не видел с того рокового дня. Она нежно улыбается мне, когда мы встречаемся на ули-

це, но этот старый кремень, ее папаша, сейчас же велит ей отвернуться... Кто это стучится в дверь? Кто пришел преследовать меня? Ручаюсь, что злодей сапожник».

— Войдите!

— Позвольте поздравить вашу светлость! Я принес милорду новые сапоги. Нет, нет, насчет платы не беспокойтесь, торопиться незачем, совершенно незачем. Может быть, милорд и в будущем окажет мне честь, останется моим клиентом... Ах, до свидания!

«Сам принес сапоги! Не хочет брать денег! Отвешивает поклоны и реверансы, точно королю! Желает, чтоб я и впредь оставался его заказчиком! Да это прямо светопреставление!..»

— Войдите!

— Прошу прощения, синьор, я принес новый костюм для вашей чести.

— Войдите!

— Тысячу раз прошу прощения, ваша милость! Я приготовил внизу прекрасное новое помещение для вас, эта жалкая конура совершенно не подходит для...

— Войдите!

— Я зашел сказать, что ваш кредит в нашем банке, к сожалению приостановленный на некоторое время, теперь возобновлен к нашему полному удовольствию, и мы будем счастливы, если вы возьмете у нас сколько угодно...

— Войдите!

— Мой славный мальчик, она твоя! Она сейчас приедет! Возьми ее, женись на ней, люби ее, будьте счастливы! Благослови бог вас обоих. Гип-гип, ура!

— Войдите!

— О Джордж, любимый мой, мы спасены!

— Мэри, дорогая! Да, мы спасены, но черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю!

Глава пятая

КАФЕ В РИМЕ

Один из группы американцев читает и переводит из «Иль Бен Соврато ди Рома»:

— «Чудесная находка! Около шести месяцев тому назад синьор Джон Смит, американский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме, приобрел за незначительную сумму участок земли в Кампанье, по соседству с мавзолеем Сципионов, у владельца этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда, в возмещение материального убытка, ненамеренно причиненного им синьору Арнольду, и заявил, что он за свой счет собирается привести в порядок это владение для синьора Арнольда. Месяц назад, производя на участке земляные работы, синьор Смит нашел античную статую редких достоинств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилуют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватает носа, левой ноги, уха, нескольких пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке, но в общем статуя замечательно сохранилась. Статуя находится в руках правительства; назначена ко-

миссия, в которую вошли художественные критики, антиквары и представители римской церкви для определения художественной ценности статуи и размеров вознаграждения, причитающегося собственнику участка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику третьего века до рождества Христова. Комиссия считает эту статую одним из совершеннейших произведений искусства, известных миру.

В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в десять миллионов франков! По римским законам и обычаям, государству принадлежит половинная доля в каждом произведении искусства, найденном в Кампанье, а потому оно уплачивает мистеру Арнольду пять миллионов франков, после чего статуя переходит во владение правительства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установлена, а в полдень комиссия отвезет синьору Арнольду чек его святейшества папы римского на пять миллионов франков золотом!»

Хор голосов. Вот повезло! Просто слов не подберешь!

Один голос. Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акционерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть филиал нашего общества на Уолл-стрит, немедленно выпустить на биржу акции и начать игру на повышение и понижение.

Все. Мы согласны!

Глава шестая

В РИМСКОМ КАПИТОЛИИ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

— Дорогая Мэри, вот самая знаменитая статуя в мире. Это Венера Капитолийская, о которой ты столько слышала. Вот она, «реставрированная», то есть кое-как подштукатуренная лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее реставрации, навеки прославит их имена. Как все это странно! Десять лет назад, накануне того памятного дня, я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом — честное слово, у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения античного искусства, какое когда-либо было известно миру.

— Знаменитая, прославленная Венера Капитолийская. И каких огромных денег она стоит! Десять миллионов франков!

— Да, теперь она стоит десять миллионов...

— О Джорджи, как она хороша! Божественно хороша!

— Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока этот чертов Джон Смит не отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! Творец нашего счастья!.. Послушай, что это такое? У мальчишки коклюш! Мэри, неужели ты никогда не научишься смотреть за детьми!

КОНЕЦ

Венера Капитолийская и посейчас стоит в Римском Капитолии и все еще является самым пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может по-

хвастать мир. Но если вам придется когда-нибудь стоять перед ней и, как полагается, восхищаться, пусть эта правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит вам удовольствия; и когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, в штате Нью-Йорк или еще где-нибудь, не верьте ни одному слову.

И если зарывший колосса Барнум предложит вам купить его за большие деньги, не покупайте. Пошлите Барнума к папе римскому!

ПРОГУЛКИ ПО РИМУ

Я не стану описывать собор св. Петра. Это уже делалось до меня. Прах апостола Петра, ученика Спасителя, покоится в крипте под baldacchino. Мы благоговейно постояли там и так же благоговейно осмотрели Мамертинскую тюрьму, где он томился в заключении, где обратил солдат в христианство и где, как гласит предание, он иссек из стены источник, чтобы окрестить их. Но когда нам показали отпечаток его лица на твердом камне тюремной стены и объяснили, что он появился после того, как Петр наткнулся на эту стену, мы усомнились. И когда монах в церкви св. Себастьяна, показав нам большую плиту, на которой отпечатались две огромных ступни, сказал, что эти следы оставил Петр, мы еще раз испытали сомнение. Такие вещи не убедительны. Монах сказал, что в тюрьму ночью явились ангелы и освободили Петра и он

бежал из Рима по Аппиевой дороге. Его встретил Спаситель и велел ему вернуться, что он и сделал. Следы Петра отпечатались на камне как раз во время этой встречи. Монах не объяснил нам, каким образом было установлено, кому принадлежат эти следы, — ведь свидание произошло тайно и ночью. Отпечаток лица в тюрьме принадлежит человеку среднего роста, а следы — великану футов эдак в двенадцать. Это «несоответствие» укрепило нас в наших сомнениях.

Разумеется, мы посетили Форум, где был убит Цезарь, а также Тарпейскую скалу. В Капитолии мы видели «Умирающего гладиатора», и мне кажется, что даже мы оценили это чудо искусства, — так же как в Ватикане мы оценили высеченную из мрамора трагедию — «Лаокоона». А еще мы были в Колизее.

Кому не известны изображения Колизея? Все немедленно узнают эту шляпную картонку, всю в амбразурах и окнах, с отгрызенным боком. Он стоит особняком — и поэтому более выгодно, чем остальные памятники Древнего Рима. Даже красавец Пантеон, на чьем языческом алтаре ныне водворен крест и чья Венера, изукрашенная священной мишурой, с неохотой исполняет обязанности девы Марии, со всех сторон окружен жалкими домишками, от чего его величие сильно пострадало. Но царь всех европейских развалин Колизей пребывает в надменном и гордом уединении, подобающем его высокому сану. Цветы и травы растут на его массивных арках и среди скамей амфитеатра, дикий виноград фестонами свисает с его высоких стен. Торжественная тишина окутывает огромное сооружение, где в далекие дни собирались бесчисленные толпы

зрителей. Бабочки сменили цариц красоты и моды, блиставших здесь восемнадцать столетий назад, и ящерицы греются на солнце в священной ложе императора. Ни один исторический труд не может рассказать о величии и падении Рима так живо, как об этом рассказывает Колизей. Трудно найти более достойное воплощение и того и другого. Бродя по современному Риму, мы могли бы усомниться в его былом величии, в том, что он когда-то насчитывал миллионы жителей; но, глядя на это упрямое свидетельство того, что для любителей развлечений среди своих граждан городу пришлось выстроить театр на восемьдесят тысяч сидячих и двадцать тысяч стоячих мест, легче поверить в его прошлое. Длина Колизея превышает тысячу шестьсот футов, ширина его — семьсот пятьдесят футов, а высота — сто шестьдесят пять. Он имеет форму овала.

В Америке, наказывая преступников, мы извлекаем из них пользу. Мы отдаем их внаймы фермерам или заставляем делать бочки и строить дороги, что приносит государству доход. Так мы сочетаем коммерцию с воздаянием за грехи — и все довольны. А древние римляне сочетали религию и развлечение. Поскольку возникла необходимость уничтожить новую секту, так называемых христиан, они сочли за благо сделать это таким образом, чтобы государство получило выгоду, а публика — удовольствие. К поединкам гладиаторов и другим зрелищам прибавился еще один номер — на арену Колизея стали иногда выводить членов ненавистной секты и выпускать на них диких зверей. Считается, что в Колизее приняли мученический венец семьдесят тысяч христиан. Поэтому его арена стала в глазах последователей Христа священным местом.

И это справедливо; ибо если цепь, которой был скован святой, и следы, которые он оставил, наступив на камень, овеяны святостью, то, несомненно, свято место, где человек отдал жизнь за свою веру.

Семнадцать — восемнадцать столетий назад Колизей был главным театром Рима, а Рим был владыкой мира. Здесь устраивались великолепные празднества, на которых присутствовал сам император, первые вельможи государства, знать и толпы граждан поплоше. Гладиаторы сражались с гладиаторами, а иногда с пленными воинами из далеких стран. Это был главный театр Рима — то есть всего мира, и светский щеголь, который не мог при случае бросить небрежно: «Моя ложа в Колизее», не бывал принят в высших кругах. Когда торговец платьем хотел заставить соседа-бакалейщика позеленеть от зависти, он покупал нумерованные места в первом ряду и рассказывал об этом каждому встречному. Когда неотразимый приказчик галантерейной лавки, повинуясь врожденному инстинкту, жаждал поражать и ослеплять, он одевался не по средствам и приглашал в Колизей чужую даму сердца, а потом, довершая уничтожение соперника, угощал ее в антрактах мороженым или, подойдя к клеткам, тросточкой из китового уса дразнил мучеников для расширения ее кругозора. Римский денди чувствовал себя в своей стихии, только когда, прислонившись к колонне, он покручивал усы и не замечал дам; когда он разглядывал в лорнет кровавые поединки; когда, вызывая зависть провинциалов, он презрительно цедил замечания, которые показывали, что он в Колизее завсегдатай и ничто ему здесь не в диковинку; когда, зевнув, он отворачивался со словами: «И это звезда! Раз-

махивает мечом, как бандит-недоучка! В деревне он еще как-нибудь мог бы сойти, но — в столице!»

Счастлив бывал безбилетник, пробравшийся в партер на утреннее представление в субботу; и счастлив бывал римский уличный мальчишка, который грыз орехи на галерке и с ее головокружительной высоты отпускал шуточки по адресу гладиаторов.

Мне принадлежит высокая честь открытия в мусоре Колизея единственной афиши этого заведения, которая уцелела до наших дней. Она все еще хранит многозначительный запах мятных леденцов; уголок ее, видимо, жевали, а сбоку на самой изысканной латыни, изящным женским почерком начертаны следующие слова:

«Милый, жди меня на Тарпейской скале завтра вечером, ровно в семь. Мама собирается навестить друзей в Сабинских горах.

Клодия»

Ах, где ныне тот счастливец и где нежная ручка, писавшая это прелестное послание? Тлен и прах уже целых семнадцать веков!

Вот эта афиша:

РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ
НЕСРАВНЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ! НОВЫЕ ЛЬВЫ!
НОВЫЕ ГЛАДИАТОРЫ!
С УЧАСТИЕМ ЗНАМЕНИТОГО
МАРКА МАРЦЕЛЛА ВАЛЕРИАНА!
Только шесть спектаклей!

Дирекция предлагает почтеннейшей публике зрелище, превосходящее своим великолепием все, что когда-либо показывалось на подмостках. Дирекция не пожалела затрат, чтобы открытие нового сезона было достойно того милостивого внимания, которым, как она надеется, уважаемая публика вознаградит ее старания. Дирекция с радостью сообщает, что ей удалось собрать

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ,

ЕЩЕ НЕВИДАННОЕ В РИМЕ!

Вечернее представление откроется

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ БИТВОЙ НА МЕЧАХ

между двумя молодыми, многообещающими любителями и прославленным парфянским гладиатором — пленником, только что присланным из лагеря Вера.

Затем последует весьма нравоучительная

СХВАТКА НА СЕКИРАХ!

между знаменитым Валерианом (с одной рукой, привязанной за спиной) и двумя гигантами дикарями из Британии.

После чего прославленный Валериан (если он останется жив) будет драться на мечах

ЛЕВОЙ РУКОЙ!

с шестью второкурсниками и одним первокурсником Колледжа гладиаторов!

Затем последует целый ряд блестящих поединков, в которых примут участие лучшие таланты империи.

После чего всемирно известный чудо-ребенок

«ЮНЫЙ АХИЛЛ»

сразится с четырьмя тигрятами, вооруженный лишь маленьким копьем!

В заключение представления состоится высоконравственная и элегантная

ВСЕОБЩАЯ РЕЗНЯ!

в которой тринадцать африканских львов и двадцать два пленных варвара будут биться до полного истребления друг друга!

КАССА ОТКРЫТА

Бельэтаж — один доллар; детям и слугам — пятьдесят процентов скидки.

Многочисленный отряд полицейских будет наготове, чтобы поддерживать порядок и препятствовать диким зверям прыгать через барьер и беспокоить зрителей.

Двери открываются в семь часов; представление начнется в восемь.

Никаких контрамарок!

Типография Диодора.

Необыкновенно удачной и приятной была и другая находка: в мусоре, покрывавшем арену, я обнаружил грязный и изорванный номер «Римской Ежедневной Боевой Секиры», в котором оказался критический разбор именно этого представления. Как источник новостей газета устарела на много столетий, и я публикую здесь перевод этой статьи только для того, чтобы показать, сколь мало изменились стиль и фразеология театральных критиков за века,

которые успели миновать с тех пор, как почтальоны доставили эту еще пахнувшую типографской краской газету подписчикам «Римской Ежедневной Боевой Секиры».

«*Открытие сезона в Колизее* — Несмотря на неблагоприятную погоду, избранное общество города чуть ли не в полном составе собралось здесь вчера вечером, чтобы присутствовать при первом появлении на подмостках столицы юного трагика, снискавшего за последнее время столько похвал в провинциальных амфитеатрах. Зрителей было около шестидесяти тысяч, и вполне вероятно, что, не будь улицы в столь непроходимом состоянии, театр не смог бы вместить всех желающих. Его августейшее величество император Аврелий занимал императорскую ложу, и взоры всех присутствующих были обращены к нему. Спектакль почтили своим присутствием многие знатнейшие вельможи и прославленные генералы, и не последним среди зрителей был молодой лейтенант из патрицианской семьи, на челе которого еще не успели увянуть лавры, добытые в рядах «Гремящего легиона». Приветственные крики, раздавшиеся при его появлении, можно было услышать за Тибром!

Недавний ремонт и отделка немало способствовали увеличению удобства и уюта Колизея. Подушки вместо твердых мраморных сидений, которые мы столько времени терпели, — очень удачное нововведение. Теперешняя дирекция заслуживает благодарности публики. Она возвратила Колизею позолоту, пышные драпировки и вообще все то великолепие, которое, как сообщили нам старые завсегдатаи Колизея, составляло гордость Рима пятьдесят лет тому назад.

Первый номер — битва на мечах между двумя молодыми любителями и знаменитым парфянским гладиатором, которого недавно взяли в плен, — был превосходен. Старший из юных джентльменов владел мечом с изяществом, говорившим о незаурядном таланте. Его ложный выпад, за которым последовал молниеносный удар, сбивший с парфянца шлем, был встречен дружными аплодисментами. Его удары слева оставляли желать лучшего, но многочисленным друзьям юного дебютанта будет приятно узнать, что со временем он несомненно преодолел бы этот недостаток. Впрочем, он был убит. Его сестры, которые присутствовали на спектакле, выказали глубокое огорчение. Его мать покинула Колизей. Второй юноша продолжал бой с такой храбростью, что неоднократно вызывал бешеные взрывы рукоплесканий. Когда наконец он пал мертвым, его престарелая мать с воплем кинулась к арене. Волосы ее растрепались, из глаз струились потоки слез, и едва ее руки вцепились в барьер, как она лишилась чувств.

Полиция немедленно удалила ее. При данных обстоятельствах поведение этой женщины может быть извинительно, но мы считаем подобные сцены прискорбным нарушением декорума, который следует неуклонно поддерживать во время представлений, не говоря уже о том, что в присутствии императора они тем более неприличны. Парфянский пленник сражался смело и искусно, что вполне понятно, ибо он сражался за свою жизнь и свободу. Его жена и дети, присутствовавшие в театре, придавали своей любовью силу его мышцам и напоминали ему о родине, которую он увидит, если выйдет победителем.

Когда пал его второй противник, жена прижала детей к груди и заплакала от радости. Но счастье это оказалось недолговечным. Пленник, шатаясь, приблизился, и она увидела, что свобода, которую он завоевал, завоевана слишком поздно: раны его были смертельны. Так, ко всеобщему удовольствию окончилось первое действие. По требованию публики директор вышел на сцену, поблагодарил зрителей за оказанную ему честь в речи, исполненной остроумия и юмора, и, заканчивая ее, выразил надежду, что его скромные усилия доставить веселое и поучительное развлечение римским гражданам будут и впредь заслуживать их одобрение.

Затем появилась звезда, встреченная громовыми аплодисментами и дружным взмахом шестидесяти тысяч носовых платков. Марк Марцелл Валериан (сценическое имя, настоящая его фамилия — Смит) обладает великолепным сложением и выдающимся актерским дарованием. Секирой он владеет виртуозно. Его заразительная веселость неотразима в комедии и все же уступает высоким образам, которые он создает в трагедии. Когда его секира описывала сверкающие круги над головами опешивших варваров точно в том же ритме, в каком он сам изгибался и прыгал, зрительный зал неудержимо хохотал; но когда он обухом проломил череп одного из своих противников, а лезвием почти в ту же секунду рассек надвое тело второго, ураган рукоплесканий, потрясший здание, показал, что взыскательное собрание признало его мастером благороднейшего из искусств. Если у него и есть какой-нибудь недостаток (мы с большим сожалением допускаем такую возможность), то это лишь привычка поглядывать на зрителей в самые зах-

ватывающие моменты спектакля, как бы напрашиваясь на восхищение. То, что он останавливался в разгар боя, чтобы раскланяться за брошенный ему букет, также несколько отдает дурным вкусом. Во время великолепного боя левой рукой он, казалось, чуть не все время смотрел на публику, вместо того чтобы крошить своих противников; а когда, сразив всех второкурсников, он забавлялся с первокурсником, то, нагнувшись, подхватил брошенный ему букет и протянул его противнику, когда тот обрушивал на его голову удар, обещавший стать последним. Такая игривая развязность, быть может, вполне приемлема в провинции, но она неуместна в столице. Мы надеемся, что наш юный друг не обидится на наши замечания, продиктованные исключительно заботой о его благе. Всем, кто нас знает, известно, что, хотя мы порою проявляем справедливую требовательность к тиграм и мученикам, мы никогда намеренно не оскорбляем гладиаторов.

Чудо-ребенок совершал чудеса. Он легко справился со своими четырьмя тигрятами, не получив ни единой царапины, если не считать потери кусочка скальпа.

Исполнение всеобщей резни отличалось большой верностью деталей, что служит доказательством высокого мастерства ее покойных участников.

Подводя итоги, можно сказать, что вчерашнее представление делает честь не только дирекции Колизея, но и городу, который поощряет и поддерживает подобные здоровые и поучительные развлечения. Нам хотелось бы только указать, что вульгарная привычка мальчишек на галерке швырять орехи и жеваную бумагу в тигров, кричать «уйюй!» и выражать свое одобрение или негодование

возгласами вроде: «Давай, давай, лев!», «Наподдай ему, медная башка!», «Сапожник!», «Марала!», «Эх ты, чучело!» — чрезвычайно неуместна, когда в зале присутствует император, и полиции следовало бы это прекратить. Вчера, каждый раз, когда служители выходили на арену, чтобы убрать трупы, юные негодяи на галерке вопили: «Подчищалы!» или еще: «Мундирчик-то фу-ты ну-ты!», а также «Убирай, не зевай!» и выкрикивали множество других насмешливых замечаний. Все это очень неприятно для публики.

На сегодня обещано дневное представление для юных зрителей, во время которого несколько мучеников будут съедены тиграми. Спектакли будут продолжаться ежедневно, до особого уведомления. Каждый вечер — существенные изменения программы. Бенефис Валериана — 29-го, во вторник, если он доживет».

В свое время я сам был театральным критиком и часто удивлялся, насколько больше Форреста я знаю о Гамлете; и я с удовлетворением замечаю, что мои античные собратья по перу разбирались в том, как надо драться на мечах, гораздо лучше гладиаторов.

Пока все идет прекрасно. Если у кого-нибудь есть право гордиться собой и быть довольным, так это у меня. Ибо я описал Колизей и гладиаторов, мучеников и львов — и ни разу не процитировал: «Зарезан на потеху римской черни». Я единственный свободный белый, достигший совершеннолетия, которому это удалось с тех пор, как Байрон создал эту строку.

«Зарезан на потеху римской черни» — звучит хорошо, когда встречаешь эти слова в печати первые семнадцать-восемнадцать тысяч раз, но потом они начинают приедаться. Они попадаются мне во всех книгах, где говорится о Риме, и последнее время то и дело напоминают мне о судьбе Оливера. Оливер, молодой, свежеиспеченный юрист, отправился начинать жизнь к нам в пустыни Невады. Он обнаружил, что наши обычаи и образ жизни в те далекие дни отличались от тех, которые приняты в Новой Англии или Париже. Однако он надел фуфайку, прицепил к своей особе револьвер флотского образца, пристрастился к местным бобам со свининой и решил в Неваде жить и по-невадски выть. Оливер настолько безоговорочно принял все последствия своего решения, что, хотя на его долю, вероятно, выпадали тяжкие испытания, он никогда не жаловался, — вернее, пожаловался только один раз. Он, еще двое и я отправились на недавно открытые месторождения серебра в горах Гумбольдт; он — чтобы занять должность судьи округа Гумбольдт, а мы — как старатели. Нам предстояло проехать двести миль. Была середина зимы. Мы купили пароконный фургон и погрузили в него тысячу восемьсот фунтов сала, муки, бобов, динамита, кайл и лопат; мы купили пару ободранных мексиканских кляч, у которых шерсть свалялась и вытерлась, а углов на теле было больше, чем у мечети Омара; мы запрягли их в фургон и тронулись в путь. Поездка была ужасной. Но Оливер не жаловался. Лошади оттащили фургон на две мили от города и стали. Затем мы втроем на протяжении семи миль толкали фургон, а Оливер шел впереди и тянул ло-

шадей под уздцы за собой. Мы жаловались — Оливер нет. Мы спали на ледяной земле, и у нас леденели спины; ветер бил в лицо и обмораживал наши носы. Оливер не жаловался. После того как мы толкали фургон пять дней и мерзли пять ночей, мы добрались до самого тяжелого участка пути — Сорокамильной, или, если угодно, Великой американской пустыни. А этот наивежливейший человек так ни разу и не пожаловался. Мы начали переход в восемь часов утра и весь день толкали фургон по бездонным пескам, мимо обломков тысячи фургонов и скелетов десяти тысяч волов, мимо колесных ободьев, которых хватило бы на то, чтобы обить монумент Вашингтона снизу и до самого верха, мимо цепей от воловьих запряжек, которыми можно было бы опоясать Лонг Айленд, мимо могильных холмиков; наши глотки пересохли от жажды, солончаковая пыль до крови разъедала нам губы, нас мучили голод и усталость — такая усталость, что каждый раз, когда, протащившись пятьдесят ярдов, мы ложились на песок, чтобы дать отдохнуть лошадям, нам приходилось бороться со сном. Но жалоб Оливера не было слышно. Не было слышно их и в три часа ночи, когда мы, измученные до смерти, перешли наконец пустыню. Два дня спустя, когда мы ночевали в узком ущелье, нас разбудил снегопад, и мы, боясь, что будем погребены заживо, запрягли лошадей и толкали фургон, пока в восемь часов не миновали водораздел и не поняли, что спасены. Никаких жалоб. Нам понадобилось пятнадцать дней трудов и лишений, чтобы преодолеть эти двести миль, но судья так ни разу и не пожаловался. Нам начинало казаться, что вывести его из

себя невозможно. Мы построили гумбольдтовский домик. Его строят так: в основании крутого склона делают ровную площадку, вбивают два столба и кладут на них две перекладины. Затем от того места, где перекладины упираются в склон, натягивают большой кусок парусины, который свисает до земли, — это крыша и фасад особняка. Заднюю и боковые стены образует сырая земля срезанного склона. Для устройства дымохода не требуется большого труда — достаточно отвернуть уголок крыши. Как-то вечером Оливер сидел один в этой унылой берлоге у костра, в котором потрескивала полынь, и писал стихи. Он любил выкапывать из себя стихи или — если дело шло туго — вырывать их динамитом. Он услышал, что возле крыши ходит какое-то животное; сверху упал камень и несколько комьев грязи. Ему стало не по себе, и он то и дело покрикивал: «Эй, пошел, пошел отсюда!» Потом он задремал, и тут в дом через дымоход свалился мул! Горящие угли были разбросаны во все стороны, а Оливер полетел кувырком. Дней через десять после этого он опять обрел уверенность в себе и снова сел писать стихи. Снова он задремал, и снова через дымоход свалился мул. На этот раз его сопровождала половина боковой стены. Стараясь подняться на ноги, мул затоптал свечу, переломал почти всю кухонную утварь и наделал много других бед. Столь внезапные пробуждения, вероятно, были неприятны Оливеру, но он ни разу не пожаловался. Он переехал в особняк на другом склоне ущелья, так как заметил, что мулы туда никогда не заглядывают. Однажды вечером, около восьми часов, он пытался докончить свое стихотворение, но тут в дом вка-

тился камень, затем через парусину просунулось копыто, а затем часть коровы — задняя часть. В испуге он отшатнулся и закричал: «Эй! Эге-гей! Убирайся отсюда!» Корова благородно старалась удержаться, но постепенно теряла почву под ногами, грязь и пыль сыпались вниз, и прежде чем Оливер успел отскочить, корова появилась вся целиком и грохнулась прямо на стол, раздавив его в лепешку.

И тут — если не ошибаюсь, в первый раз в жизни — Оливер пожаловался. Он сказал:

— Это уже становится однообразным!

Затем он подал в отставку и уехал из округа Гумбольдт. «Зарезан на потеху римской черни», по моему мнению, уже становится однообразным.

В связи с этим мне хочется сказать несколько слов о Микеланджело Буонаротти. Я всегда преклонялся перед могучим гением Микеланджело — перед человеком, который был велик в поэзии, в живописи, в скульптуре, в архитектуре — велик во всем, за что бы ни брался. Но я не хочу Микеланджело на завтрак, на обед, на ужин и в промежутках между ними. Я иногда люблю перемены. В Генуе все создано по его замыслу; в Милане все создано по его замыслу или по замыслу его учеников; озеро Комо создано по его замыслу; в Падуе, Вероне, Венеции, Болонье гиды только и твердят, что о Микеланджело. Во Флоренции все без исключения расписано им и почти все создано по его замыслу, а то немногое, что было создано не по его замыслу, он имел обыкновение разглядывать, сидя на любимом камне, — и нам обязательно показывали этот камень. В Пизе все было создано по его замыслу, кроме

косой дроболитной башни, — они бы и ее приписали ему, но только она очень уж невертикальна. По его замыслу созданы мол в Ливорно и таможенные правила Чивита-Веккии. Но здесь — здесь это переходит все границы. По его замыслу создан собор св. Петра; по его замыслу создан папа; по его замыслу созданы Пантеон, форма папской гвардии, Тибр, Ватикан, Колизей, Капитолий, Тарпейская скала, дворец Барберини, церковь св. Иоанна Латеранского, Кампанья, Аппиева дорога, семь холмов, термы Каракаллы, акведук Клавдия, Большая Клоака, — вечный надоеда создал Вечный город и, если только люди и книги не лгут, все расписал в нем! Дэн на днях сказал гиду:

— Ну, хватит, хватит! Все ясно! Скажите раз и навсегда, что бог создал Италию по замыслу Микеланджело!

Вчера я преисполнился восторга, блаженства, радости и неизреченного покоя: я узнал, что Микеланджело нет в живых.

Мы таки заставили гида проговориться. Он таскал нас мимо бесконечных картин и скульптур по огромным галереям Ватикана и мимо бесконечных картин и скульптур еще в двадцати дворцах; он показал нам в Сикстинской капелле большую картину и столько фресок, что их хватило бы на все небеса, — и все это, за малым исключением, принадлежит кисти Микеланджело. И мы сыграли с ним в игру, которой не выдержал еще ни один гид, — в слабоумие и идиотские вопросы. Эти субъекты все принимают всерьез, они не имеют ни малейшего представления об иронии.

Он показывает нам статую и говорит:

— Стату брунзо (бронзовая статуя).

Мы равнодушно поглядываем на нее, и доктор спрашивает:

— Работа Микеланджело?

— Нет. Неизвестно кто.

Потом он показывает нам древний римский форум. Доктор спрашивает:

— Микеланджело?

Гид удивленно смотрит на него.

— Нет. Одна тысяча лет раньше, как он родился.

Затем — египетский обелиск. Снова:

— Микеланджело?

— О, как можно, господа! Два тысяча лет раньше, как он родился!

Ему так надоедают эти бесконечные вопросы, что он уже боится вообще что-нибудь нам показывать. Он всячески пробовал объяснить нам, что Микеланджело ответствен за сотворение только части вселенной, но почему-то до сих пор это ему не удалось. Переутомленным глазам и мозгу крайне необходимо дать отдых от непрерывного осмотра всяких достопримечательностей, иначе нам действительно грозит идиотизм. Поэтому наш гид будет страдать и дальше. Если это ему не нравится — тем хуже для него. Нам это нравится.

Тут я, пожалуй, настрочу наконец главу об этом неизбежном зле — европейских гидах. Сколько людей мечтало о том, чтобы обойтись без гида! Но, зная, что это невозможно, каждый из них мечтал извлечь из него хоть какое-нибудь удовольствие, хоть чем-нибудь возместить страдания, причиняемые его обществом. Мы нашли спо-

соб, как этого достичь, и если наш опыт может оказаться кому-нибудь полезным, мы рады им поделиться.

Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы запутать любое объяснение настолько, что разобраться в нем совершенно невозможно. Они знают историю каждой статуи, картины, собора и любого другого чуда, которое нам показывают. Они знают ее наизусть и рассказывают ее, как попугаи, — если прервать их, они сбиваются и принуждены начинать сначала. Всю свою жизнь они занимаются тем, что показывают редкости иностранцам и выслушивают их восхищенные возгласы. Каждый человек любит вызывать восхищение. Именно поэтому дети всячески стараются острить и «выламываться» в присутствии гостей; именно поэтому присяжные сплетники готовы в дождь и в бурю бежать к соседям, лишь бы успеть первыми рассказать удивительную новость. Нетрудно понять, что для гида, привилегия которого — каждый день показывать чужестранцам чудеса, приводящие их в экстаз, это становится страстью. Он так привыкает к этому, что уже не может существовать в более трезвой атмосфере. Как только мы открыли это, мы перестали впадать в экстаз, мы больше ничем не восхищались; какие бы замечательные чудеса ни показывал нам гид, мы оставались тупоравнодушными, и на наших лицах не отражалось ничего. Мы нашли уязвимое место этого сословия. С тех пор мы неоднократно пускали наше открытие в ход. Коекого из них нам удалось разозлить, но сами мы сохраняли невозмутимое благодушие.

Вопросы обычно задает доктор, потому что он хоро-

шо владеет своим лицом и как никто умеет принять слабоумный вид и говорить идиотским голосом. У него это получается очень естественно.

Генуэзские гиды обожают американских туристов, потому что американцы всегда готовы изумиться, расчувствоваться и прийти в восторг при виде любой реликвии, связанной с Колумбом. Наш тамошний гид был преисполнен нетерпения и воодушевления. Он сказал:

— Идите со мной, господа! Идите! Я показать вам письмо, писанное Христофор Коломбо! Сам писать! Писать своей рукой! Идите!

Он повел нас в ратушу. После долгой внушительной возни с ключами и замками перед нами был развернут старый, пожелтевший от времени документ. Глаза гида засияли. Он плясал вокруг нас и стучал по пергаменту пальцем:

— Что я вам говорить, господа? Не так ли это? Глядите! Почерк Христофор Коломбо! Сам писать!

Мы симулировали равнодушие. В течение долгой мучительной паузы доктор внимательно рассматривал документ. Затем он сказал, не проявляя ни малейшего интереса:

— А... как... как вы назвали субъекта, который написал это?

— Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо!

Доктор снова внимательно исследует письмо.

— А... он его сам написал? Или... или... как?

— Он писать сам! Христофор Коломбо! Его собственный почерк, написан им самим!

Затем доктор положил письмо и сказал:

— В Америке я видывал четырнадцатилетних мальчишек, которые пишут лучше.

— Но это же великий Христо...

— Меня не интересует, кто это писал. Худшего почерка мне не приходилось видеть. Не думайте, пожалуйста, что вы можете нас дурачить, раз мы иностранцы. Мы не потерпим подобного обращения. Если у вас есть образчики настоящей каллиграфии, мы будем рады с ними ознакомиться, а если нет, то незачем здесь задерживаться.

Мы отправились дальше. Гид был сильно обескуражен, но сделал еще одну попытку. У него было в запасе нечто, чем он собирался нас поразить. Он сказал:

— Ах, господа, вы идти со мной. Я показывать вам прекрасный... о, великолепный бюст Христофор Коломбо! Чудесный, замечательный, великолепный!

Он подвел нас к прекрасному — действительно прекрасному! — бюсту и, отступив, встал в позу:

— Ах, взгляните, господа! Прекрасный, чудесный бюст — бюст Христофор Коломбо! Прекрасный бюст, прекрасный постамент!

Доктор приставил к глазам лорнет, купленный специально для таких оказий.

— А... как вы назвали этого джентльмена?

— Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо!

— Христофор Коломбо... великий Христофор Коломбо. Ну, а чем же он знаменит?

— Открыл Америку! Открыл Америку! Черт побери!

— Открыл Америку? Тут какое-то недоразумение. Мы

только что из Америки и ничего об этом не слышали. Христофор Коломбо... красивое имя... А... а он умер?

— О, corpo di Bacco![1] Триста лет назад!

— А отчего он умер?

— Не знаю. Не могу сказать.

— От оспы, а?

— Я не знаю, господа! Я не знаю, отчего он умер.

— От кори, должно быть?

— Может быть, может быть... Я не знаю... Наверное, он умер от чего-нибудь.

— А родители живы?

— Невозможно!

— А... а что здесь — бюст, а что — постамент?

— Санта Мария! Вот это — бюст, а вот это — постамент!

— Ага, понимаю, понимаю. Удачное сочетание. Весьма удачное. Но бюст не очень пышный.

Иностранец не понял этой шутки: гидам недоступны тонкости нашего американского остроумия.

Мы не даем скучать нашему римскому гиду. Вчера мы снова провели около четырех часов в Ватикане, этом удивительном хранилище редкостей. Несколько раз мы чуть было не выказали интереса, даже восхищения — удержаться, казалось, невозможно. Все же нам это удалось. Гид был совсем уничтожен и не знал, что делать. Он сбился с ног, выискивая всякие диковинки, истощил весь запас своей изобретательности, но у него так ничего и не вышло: мы не проявили интереса ни к чему. Под конец

---

[1] Черт побери! *(итал.)*

он пустил в ход свой главный козырь — царственную египетскую мумию, пожалуй, лучшую из существующих. Он повел нас к ней. На этот раз он был так уверен в успехе, что обрел часть прежнего энтузиазма.

— Взгляните, господа! Мумия! Мумия!

Лорнет приставляется к глазам с обычной хладнокровной медлительностью.

— А... как, вы сказали, зовут этого джентльмена?

— Зовут? Его никак не зовут! Мумия! Египетская мумия!

— Так, так. Здешний уроженец?

— Нет! Египетская мумия!

— Ах, вот как. Значит, француз?

— Нет же! Не француз, не римлянин! Родился в Египта!

— В Египта. В первый раз слышу об этой Египте. Какая-то заграничная местность, по-видимому. Мумия... мумия. Как он хладнокровен, как сдержан. А... он умер?

— О, sacré bleu! [1] Три тысячи лет назад!

Доктор свирепо обрушился на него:

— Эй, бросьте ваши штучки! Считаете нас за простофиль, потому что мы иностранцы и проявляем любознательность! Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и молния! Берегитесь, не то... если у вас есть хороший свежий труп, тащите его сюда! Не то, черт побери, мы разобьем вам башку!

Да, мы не даем скучать этому французу. Однако он с нами отчасти сквитался, сам того не подозревая. Сегодня

---

[1] Черт побери! *(франц.)*

утром он явился в отель узнать, не встали ли мы, и постарался описать нас как можно точнее, чтобы хозяин понял, о ком идет речь. Заканчивая свое описание, он мимоходом заметил, что мы сумасшедшие. Это было сказано так простодушно и искренне, что шутка для гида получилась недурная.

Есть один уже упоминавшийся вопрос, который неизменно доводит гидов до белого каления. Мы пускаем его в ход всякий раз, когда не можем придумать ничего другого. После того как они истощат все запасы своего энтузиазма, восхваляя красоты какого-нибудь древнего бронзового истукана или колченогой статуи, мы начинаем молча, с глупым видом рассматривать эту диковинку пять, десять, пятнадцать минут — словом, сколько сумеем выдержать, а потом спрашиваем:

— А... а он умер?

Это пронимает самого добродушного из них. Они никак этого не ждут — особенно новые, еще не знающие нас. Наш многострадальный римский Фергюсон, — пожалуй, наиболее терпеливый и доверчивый из всех гидов, которые до сих пор нам попадались. Жаль будет расставаться с ним. Нам очень нравится его общество. Мы надеемся, что ему нравится наше, но нас терзают сомнения.

ВОСПОМИНАНИЕ

Если я здесь скажу, что моему строгому отцу за все долгие пятьдесят лет его жизни лишь однажды пришлись по вкусу стихи, — те, кто знал его близко, поверят мне без

труда; если я здесь скажу, что за все долгие тридцать лет моей жизни мне только однажды пришлось сочинить стихи, — те, кто знает меня, не смогут удержаться от выражения признательности; если я, наконец, скажу, что стихи, прельстившие моего отца, не были теми стихами, которые сочинил я, — все, кто знал моего отца и близко знают меня, легко согласятся со мной без того, чтобы пришлось приставлять им ко лбу пистолет.

Когда я был мальчишкой, мои отношения с отцом были довольно прохладными — вроде вооруженного перемирия. Время от времени перемирие нарушалось и следовали неприятности. Скажу без малейшего хвастовства, что хлопоты в этом случае делились обеими сторонами поровну: нарушение перемирия брал на себя мой отец; неприятности доставались мне. Я производил впечатление робкого, застенчивого мальчика. Но однажды я спрыгнул с крыши амбара. Другой раз я угостил слона табаком и ушел, не дожидаясь ни от кого благодарности. Был еще случай, когда, притворившись, будто брежу во сне, я выпалил в присутствии отца каламбур весьма оригинального свойства. Во всех трех случаях последствия не заставили себя долго ждать. Стоит ли их вспоминать, они касались только меня.

Поэтическим произведением, которое привлекло моего отца, была «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. Кто-то, не убоявшись, как видно, смерти скорой и беспощадной, предподнес ему экземпляр только что вышедшей в свет поэмы, и я, почти не веря своим глазам, смотрел, как он сел и преспокойно взялся за книгу. Раскрыв ее, он прочел вслух с тем ледяным судейским бесстрастием, с которым

он обращался к присяжным или приводил к присяге свидетеля:

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Рукавицы Минджикэвон
И дубинку Поггэвогон.
Смажь березовую лодку
Желтым жиром Мише-Намы...

Тут отец извлек из бокового кармана внушительный документ и, пристально глядя на него, погрузился в задумчивость. Документ этот был мне знаком.

Супруги из Техаса наградили моего сводного брата, Орина Джонсона, геройски спасшего их от гибели, отличным участком земли в одном северном городке.

Отец посмотрел на меня и вздохнул. Потом он сказал:

— Если бы у меня был сын с таким талантом, как этот поэт! Здесь — более достойный сюжет, чем легенды индейцев.

— Если позволите, сэр, где именно?

— В дарственной.

— В этой дарственной?

— Да, в этой самой дарственной, — ответил отец и бросил дарственную запись на стол. — В этом неприглядном на вид документе скрыто больше поэзии, романтики, возвышенных чувств и красочных образов, чем в легендах всех индейских племен, вместе взятых.

— Вы так считаете, сэр? А не взяться ли мне за это? Что если я напишу такую поэму?

— Ты?

Мой энтузиазм погас.

Взгляд отца мало-помалу смягчился.

— Что ж, попробуй. Но помни — без глупостей. Никаких поэтических вольностей. Держись строгих фактов.

Пообещав держаться фактов, я откланялся и поднялся наверх.

В ушах у меня звучали ритмы Лонгфелло, а вместе с ними советы отца не забывать о возвышенности избранного сюжета, но в то же время остерегаться поэтических вольностей. Тут я заметил, что машинально прихватил с собой дарственный документ. Во мгновение ока мной овладел один из тех редких приступов безрассудства, о которых я говорил. Я, разумеется, знал, что отец поручил мне воспеть в романтическом духе благородный поступок моего сводного брата и полученную награду. Тем не менее я решил, — не раздумывая о неизбежных последствиях, — что выполню только лишь букву его приказания. Я взял идиотский текст дарственной записи и, ничего не выбрасывая и даже почти не меняя, разрубил ее на куски, пользуясь стихом «Гайаваты» как меркой.

Мне потребовалась вся моя храбрость, чтобы спуститься по лестнице со своей поэмой в руках. Три или четыре раза я давал себе передышку. Наконец, я поклялся, что сойду вниз к отцу и прочту ему что написал, а потом — будь что будет, пусть хоть через колокольню меня перебросит. Я уже раскрыл рот, но отец приказал подойти поближе к нему. Я придвинулся ближе, но не более чем на полшага: мне нужно было сохранить между нами нейтральную зону. Я начал читать.

Тщетно было бы пытаться сейчас передать, как сперва во взгляде отца отразилось недоумение, как оно постепенно сменилось более сильными чувствами, как лицо его потемнело от гнева и он, задыхаясь и глотая нервически воздух, стал судорожно сжимать и разжимать кулаки; как я, словно падая в пропасть, читал строку за строкой и чувствовал, что колени мои дрожат и силы покидают меня.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Настоящим подтверждаю,
Что в контракте, заключенном
В день десятый ноября, в год
От рождения Христова
Одна тысяча и восемь
сот пятьдесят третий, в коем
Сторонами выступают:
Первая — Джоанна Э. Грэй
И супруг ее Филипп Грэй
Из Салéма, что в Техасе,
И вторая — О. Б. Джонсон
Из Остúна в том же штате.
И в означенном контракте
Предусмотрено бесспорно,
Что указанная выше
Сторона — Джоанна Э. Грэй
И супруг ее Филипп Грэй
С надлежащею распиской
На означенную сумму
Уступили безусловно,
Отчуждили, подарили
И оформили законно,
В предусмотренном порядке,
И тем самым передали

В надлежащее владенье,
Иль — что то же — даровали,
Иль — что то же — отказались
От своих досель законных
Прав владетеля на землю,
Расположенную в городе
Дюнкерке, штат Нью-Джéрси,
Протяженную на север,
И на юг и юго-запад,
Сто двадцать четыре фута
К юго-западу и к югу,
К западу от Муллиген-стрит,
К северу от Бренниген-стрит.
А еще пройти на запад
Двести футов к Бренниген-стрит,
А потом на юго-запад,
И на юго-юго-запад
И еще на двести футов...

Я быстро нагнулся, и колодка для снимания сапог угодила прямехонько в зеркало. Я мог бы еще обождать и посмотреть, что получится дальше, но моя любознательность не простиралась так далеко.

КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жа-

лованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место.

Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю трудился не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня — так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он!» Вполне естественно, я был польщен. Наутро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом своей тетушке.

Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде — фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило.

Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв

шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.

Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:

— Это вы и есть новый редактор?

Я сказал, что да.

— Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?

— Нет, — сказал я, — это мой первый опыт.

— Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?

— Н-нет, сколько помню, не занимался.

— Я это почему-то предчувствовал, — сказал почтенный старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. — Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали?

«Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его».

Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?

— Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево...

— Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве!

— Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что я хотел сказать «потрясти куст».

Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему помочь.

Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех горах и долинах его физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука. Но он все-таки прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне в лицо с живейшим интересом, потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей газеты и сказал:

— Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.

Я прочел нижеследующие строки, и по мере того как слова срывались с моих губ, страдальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало, и

наконец его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж.

«Гуано — ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов».

«По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе».

«*О тыкве.* Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии; они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по вкусу. Тыква — единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает мало тени».

«В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру...»

Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал:

— Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме: вы прочли так же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора, но теперь знаю: я не в своем уме». После этого я испустил дикий вопль, так что слышно было за две мили, и побежал убить кого-нибудь: все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться

наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить себя еще раз; теперь я проверил, и это просто счастье для того бедняги, который сидит на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего.

Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект, тем более, что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал — в комнату вошел редактор! (Я подумал про себя. «Вот если б ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал»).

Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный.

Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, потом сказал:

— Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, и боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом, но кому же охота про-

слыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас; а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это право — после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи — позор для журналистики. И с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бороны от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс! Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск — я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках под заголовком «Декоративное садо-

водство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?

— Почему не сказал вам, гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омахи, и я вам гово-

рю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества, — и сделал. Я сказал, что увеличу тираж до двадцати тысяч экземпляров, — и увеличил бы, будь в моем распоряжении еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой был когда-либо у сельскохозяйственной газеты, — ни одного фермера, ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево!

И я ушел.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА

Хочу кратко поведать моим соотечественникам о моем скромном участии в этом деле, которое так взволновало общество, породило столько противоречивых суждений и попало на страницы американских и европейских газет в искаженном виде и с нелепыми комментариями.

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено официальными материалами из федеральных архивов.

Эта грустная история началась так:

Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Отлично!

Он отправился с говядиной к Шерману, но когда он привез ее в Вашингтон, Шерман ушел в Манассас; он поехал в Манассас, но Шермана там уже не было; он последовал за Шерманом в Нэшвилл, из Нэшвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, но так и не догнал Шермана. В Атланте он перевел дух и проделал за Шерманом весь поход к морю. Он опоздал опять — всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в компании других паломников отправился на пароходе «Квакер-Сити» в Святую Землю, он отплыл с говядиной в Бейрут, рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл в Иерусалим, то узнал, что Шерман не ездил на «Квакер-Сити», а вместо того отправился в прерии воевать против индейцев. Он возвратился в Америку и поехал к Скалистым горам. После семидесятидневного тяжкого странствия в прериях, всего в четырех милях от штаба Шермана, индейцы размозжили ему голову томагавком, оскальпировали его и захватили говядину. Одну бочку, впрочем, армия Шермана у индейцев отбила, и, таким образом, уже будучи мертвым, отважный путешествен-

ник частично выполнил свой контракт. В завещании, которое было найдено в его дневнике, он поручил все расчеты с правительством Бертоломью В., своему сыну, и Бертоломью накануне своей кончины составил следующий окончательный счет:

«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному Джону Уилсону Маккензи из штата Нью-Джерси, остались должны:

За тридцать бочек говядины для генерала Шермана по 100 долларов за бочку	3000 долл.
Расходы по перевозке говядины и личные путевые издержки	14000 долл.
Итого:	17000 долл.

Прошу оплатить».

Этот счет он оставил в наследство Уильяму Джону Мартину, который пытался получить по контракту деньги, но умер, не преуспев в этом деле. Мартин оставил контракт Баркеру Дж. Аллену, и тот тоже сделал попытку получить свои деньги. Не выжил. Баркер Дж. Аллен оставил контракт Энсону Дж. Роджерсу, которому посчастливилось продвинуть контракт до канцелярии девятого ревизора, когда беспощадная смерть прервала и окончила все его земные дела. Он оставил контракт своему родственнику из штата Коннектикут по имени Мстительный Гопкинс. Мстительный Гопкинс продержался четыре недели и еще двое суток, показав лучшие результаты в сезоне. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого звали Веселый Джонсон. Его последние слова перед смертью были: «Не рыдайте, я счастлив покинуть сей мир». Бед-

няга сказал это искренно, от всего сердца. В дальнейшем контракт наследовало еще семь человек. Ни один не остался в живых. Ко мне контракт перешел от родственника по фамилии Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы. Он долго таил неизбывную злобу против меня и, умирая, призвал к своему одру, сказал, что все мне прощает, и вручил мне контракт на говядину.

На этом оканчивается рассказ о том, как я стал владельцем контракта. Сейчас я поведаю все, что касается моего участия в этом деле. Захватив контракт на говядину и счет за издержки, я отправился прямиком к Президенту Соединенных Штатов Америки.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше величество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Он прервал мою речь и учтиво, но твердо дал мне понять, что аудиенция окончена. На другой день я отправился к Государственному секретарю.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше королевское высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ

Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

— Довольно, сэр, хватит. Мое министерство не имеет касательства к поставкам говядины.

Меня вывели под руки. Продумав все заново, я на следующее утро направился к морскому министру, который встретил меня словами:

— Ну, сэр, выкладывайте, не заставляйте меня долго ждать.

Я сказал:

— Ваше высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт на поставку генералу Шерману тридцати бочек говядины...

Он не дал мне закончить. Его министерство, изволите видеть, тоже не имеет касательства к поставкам для Шермана. Невольно рождалась мысль, что члены правительства ведут себя необъяснимо. Было похоже, что они просто не хотят платить за говядину. На следующий день я пошел к министру внутренних дел.

Я сказал:

— Ваша светлость, примерно десятого октября...

— Хватит, довольно. Я уже слышал о вас. Вон с вашим мерзким контрактом! Министерство внутренних дел не ведает снабжением армии.

Я ушел. Но я ожесточился душой. Я поклялся, что буду преследовать их как тень. Я буду осквернять своим нечистым присутствием все министерства одно за другим,

пока контракт на говядину не будет оплачен. Я получу с них что следует или же с честью паду, как пали мои предшественники.

Я атаковал министерство связи. Я устроил подкоп под министерство сельского хозяйства. Я напал из засады на спикера Палаты представителей. Все они, как один, утверждали, что не имеют касательства к воинским поставкам говядины. Тогда я перешел в наступление на директора Бюро по оформлению патентов.

Я сказал:

— Ваше превосходительство, примерно десятого...

— О пламя преисподней! Вы уже добрались и до нас! Но мы не имеем решительно никакого отношения к говяжьим контрактам для армии, дорогой сэр.

— Пусть так, но кто-то заплатит мне за эту говядину! Послушайте, если мне не уплатят немедленно, я конфискую ваше Бюро вместе со всем имуществом.

— Послушайте, дорогой сэр...

— Не желаю никаких объяснений. Я считаю, что Патентное бюро отвечает за этот контракт. Можете не соглашаться, как угодно, а деньги на бочку!

Излагать дальнейший ход нашей беседы было бы затруднительно. Мы перешли к рукопашной. Победило Бюро. Но и я извлек для себя некую пользу. Я узнал там, что мне нужно пойти в Казначейство. Прождав два с половиной часа, я попал на прием к первому лорду нашего Казначейства. Я сказал:

— Благороднейший и досточтимый синьор, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи...

— Можете не продолжать, сэр. Я слышал о вас. Обратитесь к первому ревизору.

Так я и сделал. Первый ревизор направил меня ко второму, второй ревизор — к третьему, а третий адресовал меня к первому контролеру Подотдела говядины. Я счел это добрым признаком. Тот проверил все свои книги, но не нашел ничего о говяжьем контракте. Я обратился ко второму контролеру Подотдела говядины. Он проверил бумаги, но опять без успеха. Это меня раззадорило. За неделю я добрался до шестого говяжьего котролера. Вторую неделю я посвятил Отделу претензий. На третью неделю, рассчитавшись с Отделом пропавших контрактов, я вступил в Подотдел посмертных расчетов и прикончил его за три дня. Оставалась последняя крепость — отдел Всякой Всячины. Я атаковал начальника Всячины, точнее его канцелярию, сам начальник отсутствовал. Шестнадцать очаровательных юных девиц вносили реестровые записи во входящие книги, семь обворожительных юношей давали им руководящие указания. Юные девицы улыбались молодым людям, те улыбались девицам, и дело шло весело, как свадебный перезвон. Два-три клерка, углубившись в газеты, окинули было меня недоброжелательным взглядом, но затем вернулись к газетам и никто во всей Всячине не обращал на меня никакого внимания. С того первого дня, когда я переступил порог канцелярии Говяжьих контрактов, и вплоть до минуты, когда я захлопнул дверь Подотдела посмертных расчетов, я успел досконально узнать, что такое любезность младшего помощника четвертого клерка. Я так понаторел в этом деле, что мог почти не качаясь стоять на одной ноге, пока

клерк не поднимет на меня любознательный взгляд — ну, может быть, раз или два сменив уставшую ногу.

Здесь я сменил уставшую ногу ровно четыре раза. Потом я сказал одному из клерков, читавших газету:

— Эй, голодранец, где великий султан?

— Что такое, сэр? О ком речь? Если вы имеете в виду начальника Всячины, то его нет.

— Посетит он сегодня гарем?

Молодой человек окинул меня негодующим взглядом и уткнулся в газетный лист. Я был спокоен. Я изучил этих клерков. Важно только одно, чтобы он покончил со своими газетами раньше, чем принесут пачку свежих, нью-йоркских. Оставалось всего две газеты. Просмотрев их, он сладко зевнул и спросил, что мне надобно.

— Почтеннейший несмышленыш, примерно...

— Вы человек с говяжьим контрактом? Давайте сюда бумаги.

Он взял у меня бумаги и стал рыться в своей Всякой Всячине. Затем этот клерк совершил открытие, равное открытию Северо-Западного прохода: он обнаружил затерянную запись о говяжьем контракте! Так вот он подводный камень, на котором терпели крушение все, кто предшествовал мне и не добрался до цели! Я был глубоко потрясен. В то же время я ликовал — ура, я остался в живых! Прерывающимся голосом я сказал молодому клерку:

— Дайте сюда документ. Я улажу все сам с правительством.

Он холодно отстранил меня и сказал, что имеются кое-какие формальности.

— Где теперь Джон Уилсон Маккензи? — спросил он меня.

— Мертв.

— Скончался?

— Убит.

— При каких обстоятельствах?

— Ему размозжили голову томагавком.

— Кто размозжил ему голову томагавком?

— Индеец, понятное дело. Уж не думаете ли вы, что это сделал директор воскресной школы?

— Нет, не думаю. Значит, индеец?

— Я уже это сказал.

— Как звали индейца?

— Как звали индейца? Я не знаю, как его звали.

— Придется узнать. Скажите, видел ли кто, как индейцы размозжили Маккензи голову томагавком?

— Не знаю.

— Вы лично присутствовали?

— Нет, это легко угадать по состоянию моего черепа.

— Почему же вы так уверены, что Маккензи скончался?

— Потому что как только его убили, он сразу стал мертвым, а будучи мертвым, оставался мертвым и далее. Смею вас в этом заверить.

— Нужны доказательства. Индеец при вас?

— Нет, понятное дело.

— Придется его привезти. Томагавк не при вас?

— Томагавк?! Боже милостивый!!

— Томагавк придется представить. И индейца и томагавк. Если с помощью этих улик вам удастся удосто-

верить кончину Маккензи, вы получите право толкнуть ваше дело в Комиссии по претензиям — с тем чтобы ваши потомки до своей неизбежной кончины успели получить что им следует. Впрочем, сперва надлежит доказать кончину Маккензи. Далее замечу, что наше правительство не станет оплачивать вам ни перевозку говядины, ни путешествия столь горячо оплакиваемого вами Маккензи. Допускаю, что вам заплатят за ту бочку говядины, которая досталась солдатам, да и то лишь в том случае, если вы добьетесь специального ассигнования в Конгрессе. За съеденные индейцами двадцать девять бочек говядины правительство платить вам не будет.

— Выходит, мне следует только сто долларов, да и то без гарантии! После всех странствий Маккензи с говядиной по Европе, Азии и Америке! После всех жертв, страданий и перевозок! После избиения невинных младенцев, пытавшихся взыскать деньги по этому счету! Скажите, молодой человек, почему первый контролер Подотдела говядины не сказал мне об этом сразу?

— Он не знал, насколько обоснованна ваша претензия.

— Ну, а почему молчал второй контролер, почему молчал третий? Почему молчали все отделы и подотделы?

— Никто не мог ничего сказать вам заранее. Дела ведутся у нас в определенном порядке. Вы теперь познакомились с нашим порядком и знаете все, что хотели узнать. Наш порядок — прекрасный порядок, единственно возможный порядок. Дело вершится постепенно, без спешки. Зато результаты — верные!

— Да, верная гибель! Так погибли мои предшественники, так погибну и я! Я вижу, молодой человек, что вы влюблены без памяти в это прелестное существо с голубыми глазами и стальным пером за ухом. Я читаю страсть в ваших взорах. Вы хотите жениться на ней, но у вас мало денег. Вот, держите, я дарю вам свой говяжий контракт. Венчайтесь и будьте счастливы! Да благословит вас всевышний, дети мои!

Вот и все, что я знаю о великом говяжьем контракте, который вызвал в свое время столько толков и шума.

Клерк, которому я подарил свой контракт, недавно скончался. Больше я ничего не слыхал ни о контракте, ни о его дальнейших владельцах. Скажу только одно: если человек наделен долголетием и готов всю долгую жизнь тащить свое дело через Министерство околичностей в нашей стране, может статься, ему повезет — и тогда ценою бессчетных усилий он узнает, приблизясь к кончине, то, что узнал бы немедленно, в первый же день в самой обыкновенной торговой конторе.

РАССКАЗ О ХОРОШЕМ МАЛЬЧИКЕ

Жил на свете один хороший мальчик по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда слушался родителей, как бы нелепы и бессмысленны ни были их требования; он постоянно сидел над учебниками и никогда не опаздывал в воскресную школу; он не пропускал уроков и не бил баклуши даже тогда, когда трезвый голос рассудка

подсказывал ему, что это было бы самое полезное для него времяпрепровождение. Все другие мальчики никак не могли его понять — очень уж странно Джейкоб вел себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было в иных случаях. Он утверждал, что лгать нехорошо, и больше ничего знать не хотел! Да, честен он был просто до смешного! Странности этого Джейкоба превосходили всякую меру. Он не хотел играть в шарики по воскресеньям, не разорял птичьих гнезд, не совал обезьянке шарманщика накаленных на огне медяков. Словом, этот Джейкоб не имел ни малейшей склонности к каким бы то ни было разумным развлечениям. Другие мальчики пробовали иногда объяснить себе, почему это так, пытались его понять, но ничего из этого не вышло. И, как я уже говорил, у них только создалось смутное впечатление, что Джейкоб немного «тронутый», поэтому они взяли его под свое покровительство и никому не давали в обиду.

Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и находил в этом величайшую отраду. Весь секрет был в том, что он свято верил этим книгам, верил в примерных мальчиков, о которых там рассказывается. Он мечтал хоть раз встретить в жизни такого мальчика, но ни разу не встретил. Должно быть, они все вымерли раньше, чем Джейкоб родился. Всякий раз, как ему попадалась книжка о каком-нибудь особенно добродетельном мальчике, он спешил перелистать ее и заглянуть на последнюю страницу, чтобы узнать, что с ним сталось. Джейкоб готов был пройти пешком тысячи миль, чтобы посмотреть на такого мальчика.

Но это было бесполезно: всякий хороший мальчик неизменно умирал в последней главе, и на картинке были изображены его похороны. Все его родственники и ученики воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких штанах и чересчур больших шляпах, и все утирали слезы платками размером ярда в полтора. Да, таким-то образом Джейкоб всегда обманывался в своих надеждах: никак ему не удавалось встретить добродетельного мальчика, потому что все они умирали в последней главе.

У Джейкоба была одна высокая мечта: что о нем напишут в книжке для воскресных школ. Ему хотелось, чтобы его изобразили на картинке в тот момент, когда он героически решает не лгать матери, а она плачет от радости; или чтобы он был изображен на пороге, когда подает цент бедной женщине с шестью ребятишками и говорит ей, что она может тратить эти деньги как хочет, но расточительной быть не следует, потому что расточительность — большой грех. И еще Джейкоб мечтал, чтобы на картинках показали, как он великодушно отказывается выдать скверного мальчишку, который постоянно подстерегает его за углом, когда он возвращается из школы, колотит его палкой по голове и гонится за ним до самого дома, крича: «Н-но! Н-но! Вперед!» Такова была честолюбивая мечта юного Джейкоба Блайвенса. Ему хотелось попасть в книгу для воскресных школ. Правда, иногда ему бывало не по себе при мысли, что хорошие мальчики в этих книжках почему-то непременно умирают. Ему, видите ли, жизнь была дорога, и такая особенность хороших мальчиков его сильно смущала.

Джейкоб убеждался, что быть хорошим — очень вредно для здоровья, знал, что такая сверхъестественная добродетель, какую описывают в книжках, для мальчика губительнее чахотки. Да, он знал, что все хорошие мальчики недолговечны, и больно было думать, что если о нем и напишут когда-нибудь в книжке, ему этого прочитать не придется, а если книга выйдет до его смерти, она будет не такая интересная, потому что в конце не будет картинки с изображением его похорон. Что уж это за книжка для воскресной школы, если в ней не будет рассказано, как он, умирая, наставлял людей на путь истинный! Однако ему оставалось только примириться с обстоятельствами, и в конце концов он решил делать все, что в его силах, — то есть жить праведно, быть стойким и подготовить заранее речь, которую он произнесет, когда настанет его смертный час.

Но почему-то этому славному мальчику не везло! Никогда ничего не происходило в его жизни так, как бывает с хорошими мальчиками в книжках. Те всегда жили припеваючи, и ноги ломали себе не они, а скверные мальчишки. А с Джейкобом что-то было неладно — все у него выходило наоборот. Когда он увидел, как Джим Блейк рвет чужие яблоки, и подошел к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ о том, как другой воришка упал с яблони соседа и сломал себе руку, Джим действительно свалился, но не на землю, а на него, Джейкоба, и сломал руку не себе, а ему, а сам остался цел и невредим. Джейкоб был в полнейшем недоумении: в книжках ничего подобного не случалось.

В другой раз, когда какие-то негодники толкнули сле-

пого в лужу, а Джейкоб бросился к нему на помощь, уверенный, что бедняга будет благословлять его, слепой «благословил» его палкой по голове и закричал:

— Ишь, пихнул в грязь, а теперь прикидывается, будто помочь хочет! Ну, попадись ты мне в другой раз!

Это не лезло ни в какую книгу! Джейкоб перелистал их все, чтобы проверить, бывают ли такие случаи, но ничего не нашел.

Очень хотелось Джейкобу встретить хромую бездомную собаку, голодную и забитую, привести ее к себе домой, ухаживать за ней и заслужить ее вечную благодарность. И вот наконец ему попался такой пес, и Джейкоб был счастлив. Он привел пса домой и накормил, но когда хотел его погладить — пес бросился на него и разорвал на нем сзади всю одежду, так что Джейкоб представлял собой потрясающее зрелище! В надежде найти всему этому какое-нибудь объяснение Джейкоб изучал авторитетнейшие источники, но так ничего и не понял. Собака была той же породы, как и те, которых в книгах встречали добрые мальчики, а вела себя совершенно иначе.

Да, что бы ни делал наш Джейкоб, он всегда попадал впросак. Те самые поступки, за которые мальчики в книгах получали награду, для него оказывались невыгодными и приносили ему одни неприятности.

Однажды, по дороге в воскресную школу, он увидел, что несколько скверных мальчиков поехали кататься на лодке под парусом. Это его очень расстроило: ведь он знал из книг, что те, кто в воскресенье катается на лодке, непременно тонут. И вот он вскочил на плот и поплыл за ними вдогонку, чтобы их предостеречь, но одно

бревно под ним перевернулось, и он упал в воду. Его сразу вытащили, и врач выкачал из него воду и спас его, нагнав ему воздуху в легкие. Но Джейкоб успел простудиться и пролежал в постели больше двух месяцев. А самое непостижимое во всей этой истории было то, что дурные мальчики весь день благополучно катались на лодке и вернулись домой как ни в чем не бывало, живые и здоровые. Джейкоб Блайвенс был просто ошеломлен. Он уверял, что в книгах таких вещей никогда не бывает.

Выздоровев, он, хотя и был уже немного обескуражен, решил все же не отступать. Правда, все его подвиги до сих пор для книги не годились, но ведь еще не истек срок, который положено жить хорошим мальчикам, и Джейкоб надеялся, что все-таки его будет за что увековечить в книге, если он стойко продержится до конца. Даже если во всем другом его будет преследовать неудача, у него остается в запасе предсмертная речь!

Он снова обратился к авторитетным источникам и решил, что сейчас пришло для него время стать юнгой и уйти в море. Он отправился к одному капитану корабля и предложил свои услуги, а когда капитан потребовал рекомендаций, он с гордостью предъявил ему религиозную брошюру и указал на надпись: «Джейкобу Блайвенсу от любящего учителя». Но капитан оказался пошлым грубияном и сказал:

— К черту эту ерунду! Это вовсе не доказательство, что ты сумеешь мыть посуду и управляться с помойным ведром. Нет, пожалуй, ты мне не подойдешь!

Это было уже что-то из ряда вон выходящее! Ничего

подобного Джейкоб в жизни не слыхал. Во всех прочитанных им книгах трогательная надпись учителя на брошюрке неизменно будила самые нежные чувства в сердцах суровых капитанов, открывала путь ко всем почетным и выгодным должностям, какие они могли предоставить. А тут... Джейкоб просто ушам своим не верил!

Трудно приходилось этому мальчику! В жизни все оказывалось совсем не таким, как в книгах, которым он свято верил. Наконец однажды, когда он слонялся в поисках дурных детей, чтобы их увещевать, он наткнулся на целую ватагу в старой литейне. Эти шалопаи развлекались тем, что, связав вместе длинной вереницей четырнадцать или пятнадцать собак, привязывали к их хвостам, в виде украшения, пустые жестянки из-под нитроглицерина. Сердце у Джейкоба дрогнуло. Он сел на одну из банок (ибо, когда нужно было исполнить долг, никакая грязь его не пугала) и, ухватив за ошейник переднюю собаку, обратил укоризненный взор на негодного Тома Джонса. Но как раз в эту минуту на сцене появился разъяренный олдермен Мак-Уэлтер. Все скверные мальчишки разбежались, а Джейкоб Блайвенс встал спокойно, в полном сознании своей невиновности, и начал одну из тех полных достоинства речей, которыми изобилуют книги для воскресных школ и которые всегда начинаются словами: «О сэр!», хотя в жизни никакой мальчик, ни хороший, ни дурной, так не говорит. Однако олдермен не стал слушать Джейкоба. Он схватил его за ухо, повернул спиной к себе и дал ему хорошего шлепка...

И вдруг этот добродетельный мальчик пулей пролетел через крышу и взмыл к небу вместе с останками пятнадцати собак, которые тянулись за ним, как хвост за бумажным змеем. Не осталось на земле следа ни от грозного олдермена, ни от старой литейни. А юному Джейкобу Блайвенсу так и не пришлось произнести сочиненную им с таким трудом предсмертную речь, — разве что он обратился с ней к птицам в поднебесье. Большая часть его, правда, застряла на верхушке дерева в соседнем округе, но все остальное рассеялось по четырем приходам, так что пришлось произвести пять следствий, чтобы установить, мертв он или нет и как все это случилось. Никогда еще свет не видел мальчика, который бы до такой степени разбрасывался [1].

Так погиб хороший мальчик, который, как ни старался, не мог уподобиться героям книг для воскресной школы.

Все мальчики, поступавшие так, как он, благоденствовали, а он — нет. Это поистине удивительный случай! Объяснить его, вероятно, так и не удастся.

МОИ ЧАСЫ

(Поучительный рассказик)

Мои прекрасные новые часы полтора года шли не отставая и не спеша. Они ни разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величай-

[1] О подобной катастрофе с нитроглицерином я прочел в одной газете. Я назвал бы вам фамилию автора заметки, если бы знал ее. — *М. Т.*

шим авторитетом по части указания времени и рассматривал их анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но в конце концов я как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия.

На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой паузы он сказал: «Часы опаздывают на четыре минуты — надо передвинуть регулятор». Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, этот капустный кочан не желал ничего слушать, он видел только одно — что мои часы опаздывают на четыре минуты и, следовательно, надо передвинуть регулятор; и вот, пока я в тревоге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них доходил до ста пятидесяти в тени. Через два месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе и дней на тридцать с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом денег за квартиру, с уплатой по счетам; и это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда-нибудь в

починке. Я сказал, что нет, до сих пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью, он набросился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из-под игральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходить не вовремя к обеду; три дня отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что одинодинешенек болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое-то смутное влечение, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус «вспучило». Он сказал, что в три дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично, но только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса; и пока этот шум не прекращался, ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую половину суток они шли все медленнее и

медленнее, и все часы, которые были ими оставлены позади, теперь догоняли их. И к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад, я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан. Он починил шкворень, но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то шли, то останавливались, стояли или шли сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское оружие. Я подложил на грудь ваты, но в конце концов не выдержал и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на части и стал рассматривать их бренные останки в лупу, потом сказал, что, кажется, что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в механизме нужно

поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и мои часы шли ничего себе, только время от времени внутри механизма что-то вдруг приходило в неистовое движение и начинало жужжать, как пчела, причем стрелки вращались с такой быстротой, что очертания их тускнели и циферблат был виден словно сквозь паутину. Весь суточный оборот они совершали минут в шесть или семь, потом со щелканьем останавливались. Как ни тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили двести долларов, починка обошлась мне тысячи в две-три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем старого знакомого — пароходного механика, да и механика-то не из важных. Он внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь как делали другие часовщики, и так же уверенно произнес свой приговор. Он сказал:

— Придется спустить в них пары: надо бы навинтить еще одну гайку на предохранительный клапан!

Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет.

Мой дядя Уильям (теперь, увы, покойный) говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил удила, а хорошие часы — пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы; но никто так и не мог ему этого объяснить.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН

Глава I

ТАЙНА РАСКРЫВАЕТСЯ

Спустилась ночь. В величественном старинном замке барона Клюгенштейна царило безмолвие. Близился к концу 1222 год. Только в дальней, самой высокой башне замка мерцал одинокий огонек. Там шло тайное совещание. Старый суровый хозяин замка, задумавшись, сидел в своем кресле. Наконец он сказал с нежностью:

— Дочь моя!

Молодой человек благородной наружности, с головы до ног облаченный в рыцарские доспехи, ответил:

— Я слушаю, отец!

— Дочь моя, наступило время открыть тайну, которая окутывала всю твою юную жизнь. Знай теперь, что причиной ее послужили те события, о которых я расскажу тебе сейчас. Мой брат Ульрих — великий герцог Бранденбургский. Наш отец на смертном ложе своем завещал, что, если Ульриху не суждено будет иметь сына, право наследования перейдет к моему дому, но лишь в том случае, если у меня родится сын. Если же у нас обоих будут не сыновья, а дочери, наследницей трона явится дочь Ульриха при условии безупречного поведения; в противном случае герцогство переходит к моей дочери, которая тоже обязана сохранить незапятнанное имя. И вот мы с твоей старой матерью стали горячо молиться, прося бога даровать нам сына, но молитвы наши не были услышаны. Родилась ты. Я был в отчаянии. Могущественная власть ус-

кользала из моих рук, прекрасная мечта рушилась. А я так надеялся! Пять лет прожил Ульрих в браке, но жена все еще не подарила ему наследника — ни сына, ни дочери.

«Постой, — сказал я себе, — не все еще потеряно». Спасительный план пришел мне в голову. Ты появилась на свет в полночь. Только лекарь, нянька да шесть прислужниц знали, что родилась девочка. Не прошло и часа, как я всех их повесил. А на следующее утро жители баронетства веселились и ликовали, узнав, что у Клюгенштейна родился сын — наследник могущественного герцога Бранденбургского! И все осталось в тайне. В детстве тебя нянчила родная сестра твоей матери, а уж потом опасаться нам было нечего. Когда тебе исполнилось десять лет, у Ульриха родилась дочь. Мы были огорчены, но еще возлагали надежды на болезни, на врачей и на других естественных врагов детства, однако нас всякий раз ожидало разочарование. Она жила, она цвела — да покарает ее небо! Но что с того? Нам ничто не угрожает. Ха-ха! Разве у нас нет сына? И разве наш сын не будущий герцог? Так я говорю, наш нежно любимый Конрад? Ибо, хотя ты, дитя мое, родилась женщиной и тебе уже двадцать восемь лет, никто не называл тебя иным именем, чем то, которым я когда-то нарек тебя!

И вот наконец время наложило свою руку на моего брата: он состарился. Государственные заботы чрезмерно обременяют его, а поэтому он желает, чтобы ты приехала к нему и стала герцогом — пусть не по титулу, но по делам своим. Твои слуги готовы, ты отправишься сегодня в ночь.

Теперь слушай хорошенько. Запомни каждое мое сло-

во. Существует закон, столь же древний, как сама Германия: если женщина хоть на мгновение сядет на большой герцогский трон до того, как она будет всенародно коронована, *ЕЕ ЖДЕТ СМЕРТЬ!* Не забывай мои слова. Притворяйся скромной. Произноси свои решения из кресла первого министра, которое стоит у подножия трона. Делай так до тех пор, пока ты не будешь коронована и жизнь твоя не будет в безопасности. Не думаю, что тебя смогут разоблачить, но все же разум велит нам предусматривать всякие случайности, какие могут произойти в нашем непостоянном мире.

— О мой отец! Неужели только ради этого вся моя жизнь была сплошной ложью? Неужели из-за этого я должна лишить мою невинную сестру ее законных прав? Пожалейте меня, отец, пожалейте свое дитя!

— Что, дерзкая девчонка? И это награда мне за ту высокую судьбу, которую я уготовал тебе? Клянусь прахом отца моего, мне не по сердцу твои слезы! Немедля отправляйся к герцогу и берегись расстроить мои планы!

На этом закончим их разговор. Нам достаточно знать и то, что мольбы, просьбы и слезы великодушной девушки ни к чему не привели. Ничто не могло поколебать решения упрямого барона Клюгенштейна. И вот наконец с тяжестью в сердце дочь увидела, как ворота замка закрылись за ней, и вскоре, окруженная группой вооруженных вассалов-рыцарей, за которыми следовали преданные слуги, она верхом на коне пропала во мраке.

После отъезда дочери старый барон долго сидел молча, а затем, обернувшись к своей опечаленной горем жене, сказал:

— Жена, дела наши, по-видимому, идут превосходно. Прошло три месяца с тех пор, как я отправил коварного красавца графа Детцина с дьявольским поручением к Констанции, дочери моего брата. Если его миссия провалится, нам грозит опасность, но если он добьется успеха, никакая сила не помешает нашей дочери занять герцогский трон, хотя злая судьба готовила ей иное.

— Мое сердце полно предчувствий; кто знает, как это кончится.

— Тсс, женщина! Не накликай беду. Идем разделим ложе и предадимся мечтам о Бранденбурге и будущем величии!

Глава II

ВЕСЕЛЬЕ И СЛЕЗЫ

Спустя шесть дней после событий, о которых рассказано в предыдущей главе, блестящая столица герцогства Бранденбургского сияла пышным великолепием военных доспехов и вся так и гудела, переполненная ликующими верноподданными, — это приехал Конрад, юный наследник короны. Сердце старого герцога было исполнено счастья: красота и изящные манеры Конрада тотчас завоевали его расположение. В больших залах дворца толпились придворные и с восторгом приветствовали юношу. Все вокруг казалось таким светлым и радостным, что его страхи и сомнения сразу исчезли, уступив место счастливому спокойствию.

А в дальних покоях дворца происходила совсем иная сцена. У окна стояла принцесса Констанцуя — единственная дочь герцога. Ее глаза, красные и опухшие, и сей-

час были полны слез. Она была одна. Горько рыдая, она сказала вслух:

— Коварный Детцин покинул меня... Он бежал из герцогства. Сначала я не поверила этому, но — увы! — это истинная правда! А я так любила его! Я осмелилась полюбить его, хотя знала, что герцог, мой отец, никогда не даст согласия на наш брак. Я любила его... А теперь я его ненавижу! Я ненавижу его всем сердцем! О, что станется со мной? Я погибла, погибла, погибла! Я сойду с ума!

Глава III

КЛУБОК ЗАПУТЫВАЕТСЯ

Прошло несколько месяцев. Все жители хвалили правление молодого Конрада и превозносили мудрость его решений, мягкость приговоров и скромность, с которой он держался, несмотря на свое высокое положение. Старый герцог вскоре передал все дела в его руки, а сам с горделивым удовлетворением слушал со стороны, как его наследник провозглашал решения короны из кресла первого министра. Казалось, человек, которого так любил 0, хвалили и почитали, как Конрада, не мог не быть счастливым. Но, как ни странно, юноша не был счастлив. О с ужасом стал замечать, что принцесса Констанция полюбила его! Любовь других людей была для него только радостью, а эта таила в себе угрозу! Заметил он и то, что восхищенный герцог тоже узнал о страсти своей дочери и уже мечтает о свадьбе. С каждым днем все меньше следов глубокой грусти оставалось на лице принцессы; постепенно надежда и оживление засветились в ее взоре, и время от

времени даже легкая улыбка освещала ее лицо, прежде такое печальное.

Тревога овладела Конрадом. Он горько упрекал себя за то, что, когда он приехал во дворец и никого еще там не знал, он подчинился инстинкту, заставившему его искать мужской дружбы, меж тем как скорбная душа его жаждала участия, на которое способно только женское сердце. Теперь он начал избегать своей двоюродной сестры. Но это лишь ухудшило положение, потому что, естественно, чем больше он избегал ее, тем упорнее она искала встречи с ним. Сначала он только удивлялся, потом это озадачило его. Девушка преследовала его, она охотилась за ним, она встречала его всегда и повсюду, днем и ночью. Она казалась необычайно настойчивой. По-видимому, здесь крылась какая-то тайна.

Далее так продолжаться не могло. Весь двор уже говорил об этом. Герцог недоумевал. Из-за постоянной тревоги и душевных волнений бедный Конрад стал похож на привидение. Однажды, когда он выходил из своей приемной, прилегающей к картинной галерее, его встретила Констанция и, схватив обе руки юноши в свои, воскликнула:

— О, почему ты избегаешь меня? Что я сделала?.. Что я сказала такого, из-за чего потеряла твое расположение? Ведь раньше ты мне дарил его. Конрад, не презирай меня, пожалей измученное сердце! Я не могу, не могу больше молчать, ибо молчание погубит меня. *Я люблю тебя, Конрад!* Теперь, если хочешь, презирай меня, но я должна была сказать тебе об этом!

Конрад молчал. Констанция оставалась в нереши-

тельности, но в следующее же мгновение взор ее загорелся неистовой радостью — она неверно истолковала молчание Конрада и обвила руками его шею.

— Сжалься! Сжалься! Ты можешь любить меня, ты полюбишь меня! О, скажи, что полюбишь, мой единственный, мой обожаемый Конрад! — молила она.

Конрад громко застонал. Болезненная бледность разлилась по его лицу, и он задрожал, как осиновый лист. Наконец в отчаянии он оттолкнул от себя бедную девушку и закричал:

— Ты не ведаешь, о чем просишь! Это невозможно, и не бывать этому никогда!

И он убежал, словно преступник, а принцесса осталась на месте, оцепенев от изумления. Спустя минуту она плакала и рыдала в галерее; а у себя в спальне плакал и рыдал Конрад. Оба были в отчаянии. Оба понимали, что надвигается катастрофа.

Вскоре Констанция поднялась и вышла, сказав:

— Подумать только, он отверг мою любовь в ту самую минуту, когда я надеялась, что она смягчит его жестокое сердце! Я ненавижу его! Он отверг меня, этот человек! Он отшвырнул меня, как собаку!

Глава IV

УЖАСНОЕ ОТКРЫТИЕ

Дни шли за днями. На лице дочери доброго старого герцога снова поселилась грусть. Теперь ее и Конрада уже не видели больше вместе. Герцог был опечален этим. Но по мере того как проходили недели, румянец снова по-

явился на щеках Конрада, былое оживление заиграло в его глазах, и он правил государством с ясной и неуклонно зреющей мудростью.

Внезапно начались какие-то таинственные перешептывания. Шепот становился все громче, он рос и ширился. Слухи охватили весь город. Они распространились по всему герцогству.

— Принцесса Констанция родила ребенка! — вот о чем шептались люди.

Когда это известие дошло до барона Клюгенштейна, он трижды взмахнул над головой шлемом, украшенным плюмажем, и крикнул:

— Да здравствует герцог Конрад! Да будет вам ведомо, с сего дня корона принадлежит ему навсегда! Детцин умело выполнил поручение, этот ловкий негодяй получит хорошую награду.

Он рассказывал эту новость всем и каждому, и уже через сорок восемь часов в баронетстве не осталось ни единой души, которая бы не танцевала и не пела, не пировала и не веселилась, празднуя это великое событие, гордясь старым Клюгенштейном и радуясь за него.

Глава V

СТРАШНАЯ РАЗВЯЗКА

Настал день суда. В зале правосудия во дворце герцога собралась вся знать Бранденбурга. Не осталось ни единого свободного места — везде стояли и сидели зрители. Конрад, облаченный в пурпур и горностай, восседал в кресле первого министра, а по обе стороны его располо-

жились главные судьи государства. Старый герцог сурово приказал, чтобы суд над его дочерью вершили без всякого снисхождения, и с разбитым сердцем удалился в свои покои. Дни его были сочтены. Бедный Конрад просил, словно моля о спасении собственной жизни, чтобы его устранили от тяжкой обязанности судить сестру, но мольбы его остались тщетными.

Во всем этом огромном собрании ни у кого не было так тяжело на сердце, как у Конрада. И ни у кого на сердце не было так легко и радостно, как у его отца, ибо, не известив о своем приезде «сына», старый барон Клюгенштейн стоял теперь в толпе вассалов, счастливый растущим величием своего рода.

Герольды провозгласили заседание открытым, за этим последовали все необходимые церемонии, и вот наконец почтенный главный судья сказал:

— Подсудимая, встаньте!

Несчастная принцесса поднялась и с открытым лицом стояла перед огромной толпой. Главный судья продолжал:

— Светлейшая принцесса, великий суд нашего государства предъявляет вам, ваше высочество, доказанное обвинение в том, что, не состоя в законном браке, вы родили ребенка, а подобное преступление, согласно нашему древнему закону, карается смертной казнью. Существует лишь одно отклонение от закона, о котором его высочество, наш добрый принц Конрад, правящий ныне вместо герцога, объявит вам сейчас в своем торжественном слове. Итак, слушайте.

Конрад поднял свой тяжелый скипетр, и в ту же минуту женское сердце под его пурпурной мантией прон-

зила жалость к обреченной подсудимой и глаза наполнились слезами. Он хотел было заговорить, но главный судья остановил его:

— Не здесь, ваше высочество, не здесь! Закон требует, чтобы приговор над членами герцогского рода произносился только с трона герцога!

Ужас сковал сердце бедного Конрада, и дрожь потрясла железное тело его старого отца. *Конрад еще не был коронован.* Осмелится ли он осквернить трон? Бледный от страха, он медлил. Но он должен был сделать это. На него уже устремились удивленные взоры. Если он будет колебаться и дальше, удивление перейдет в подозрение. Конрад взошел на трон. Снова подняв скипетр, он произнес:

— Подсудимая, от имени нашего державного владыки Ульриха, герцога Бранденбургского, я выполняю порученную мне торжественную обязанность. Выслушайте меня внимательно. По древнему закону страны, вам грозит смерть, но мы помилуем вас, если вы назовете участника вашего преступления и выдадите его палачу. Воспользуйтесь этой возможностью, спасите себя, пока еще не поздно. Назовите отца вашего ребенка!

В громадном зале суда воцарилась торжественная тишина, тишина столь глубокая, что можно было услышать, как бьется собственное сердце. Затем принцесса, во взоре которой сверкала ненависть, медленно повернулась к Конраду и, указывая на него пальцем, произнесла:

— Этот человек — ты!

Страшное сознание полной своей беспомощности и нависшей над ним ужасной опасности сковало сердце

Конрада холодом, словно ледяная рука смерти коснулась его. Какая сила на земле может его спасти? Чтобы опровергнуть это обвинение, он должен открыть, что он женщина, а для некоронованной женщины прикосновение к герцогскому трону каралось смертью! В одно и то же мгновение он и его жестокий старик отец, потеряв сознание, упали на землю.

Окончания этой потрясающей и полной драматических событий истории нельзя отыскать ни в этой, ни в другой книге, ни сейчас, ни в будущем.

По правде говоря, я завел моего героя (или героиню) в такое безвыходное и запутанное положение, что сам не знаю, как теперь с ним (или с нею) быть, а поэтому умываю руки и предоставляю ему (или ей) самостоятельно отыскать выход или оставаться в том же положении. Я надеялся, что выпутаться из этого небольшого затруднения довольно легко, но оказалось, что это далеко не так.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ В ГУБЕРНАТОРЫ

Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Бланка Дж. Блэнка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были ког-

да-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов! Это стало беспокоить меня все больше и больше. В конце концов я решил посоветоваться со своей бабушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо ее гласило:

«За всю свою жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного! Между тем взгляни только в газеты, и ты поймешь, что за люди мистер Смит и мистер Блэнк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?»

Именно это и не давало мне покоя! Всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определенные обязательства и должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на следующую заметку и, сказать по правде, был совершенно ошеломлен:

«Лжесвидетельство. Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Твен соизволит разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги тридцатью четырьмя свидетелями в городе Вакаваке (Кохинхина) в 1863 году? Лжесвидетельство было совершено с намерением оттягать у бедной вдовы-туземки и ее беззащитных детей жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревцами — единственное, что спасало их от голода и нищеты. В своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяснить эту историю. Решится ли он?»

У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Я никогда не бывал в Кохинхине! Я не имею понятия о Вакаваке! Я не мог бы отличить бананового дерева от кенгуру! Я просто не знал, что делать. Я был взбешен, но совершенно беспомощен.

Прошел целый день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете появились такие строки:

«З н а м е н а т е л ь н о! Следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по поводу своего лжесвидетельства в Кохинхине!»

(В дальнейшем, в течение всей избирательной кампании эта газета называла меня не иначе, как «Гнусный Клятвопреступник Твен».)

Затем в другой газете появилась такая заметка:

«Ж е л а т е л ь н о у з н а т ь, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить тем из своих сограждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство: правда ли, что у его товарищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие веши, которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его «чемодане» (старой газете, в которую он заворачивал свои пожитки). Правда ли, что товарищи вынуждены были наконец, для собственной же пользы мистера Твена, сделать ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалять в перьях и пронести по улицам верхом на шесте, а затем посоветовать поскорей очистить занимаемое им в лагере помещение и навсегда забыть туда дорогу? Что ответит на это мистер Марк Твен?»

Можно ли было выдумать что-либо гнуснее! Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане!

(С тех пор эта газета называла меня «Твен, Монтанский Вор».)

Теперь я стал развертывать утреннюю газету с боязливой осторожностью, — так, наверное, приподнимает

одеяло человек, подозревающий, что где-то в постели притаилась гремучая змея.

Однажды мне бросилось в глаза следующее:

«Клеветник уличен! Майкл О'Фланаган — эсквайр из Файв-Пойнтса, мистер Снаб Рафферти и мистер Кэтти Маллиган С Уотер-стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Блэнка был повешен за грабеж на большой дороге, является подлой и нелепой, ни на чем не основанной клеветой. Каждому порядочному человеку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пускаются на любые гнусные уловки, оскверняют гробницы и чернят честные имена усопших. При мысли о том горе, которое эта мерзкая ложь причинила ни в чем не повинным родным и друзьям покойного, мы почти готовы посоветовать оскорбленной и разгневанной публике тотчас же учинить грозную расправу над клеветником. Впрочем, нет! Пусть терзается угрызениями совести! (Хотя, если наши сограждане, ослепленные яростью, в пылу гнева нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обвинить и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела.)»

Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление: той же ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и убежать из дому черным ходом, а «оскорбленная и разгневанная публика» ворвалась через парадную дверь и в порыве справедливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель, а кстати захватила с собой кое-что из моих вещей. И все же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал на дедушку мистера Блэнка. Мало того — я не подозревал о его существовании и никогда не слыхал его имени.

(Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня «Твеном, Осквернителем Гробниц».)

Вскоре мое внимание привлекла следующая статья:

«Достойный кандидат! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громовую речь на митинге независимых, не явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось, что его сшиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые изо всех сил старались принять на веру эту жалкую отговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они избрали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализавшаяся скотина не была Марком Твеном. Попался наконец-то! Увертки не помогут! Весь народ громогласно вопрошает: «Кто был этот человек?»

Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы мое имя было связано с таким чудовищным подозрением! Уже целых три года я не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков.

(Очевидно, время брало свое, и я стал закаляться, потому что без особого огорчения прочел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище: «Твен, Белая Горячка», хотя знал, что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании.)

К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания:

«Что скажете насчет убогой старушки, какая к вам стучалась за подаянием, а вы ее ногой пнули?

Пол Прай».

Или:

«Некоторые ваши темные делишки известны пока что одному мне. Придется вам раскошелиться на несколько долларов, иначе газеты узнают кое-что о вас от вашего покорного слуги.

Хэнди Энди».

Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читателю довольно и этих.

Вскоре главная газета республиканской партии «уличила» меня в подкупе избирателей, а центральный орган демократов «вывел меня на чистую воду» за преступное вымогательство денег.

(Таким образом, я получил еще два прозвища: «Твен, Грязный Плут» и «Твен, Подлый Шантажист».)

Между тем все газеты со страшными воплями стали требовать «ответа» на предъявленные мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следующее утро в одной из газет появилась такая статья:

«Полюбуйтесь-ка на этого субъекта! Кандидат независимых продолжает упорно отмалчиваться. Конечно, он не смеет и пикнуть. Предъявленные ему обвинения оказались вполне достоверными, что еще больше подтверждается его красноречивым молчанием. Отныне он заклеймен на всю жизнь! Поглядите на своего кандидата, независимые! На этого Гнусного Клятвопреступника, на Монтанского Вора, на Осквернителя Гробниц! Посмотрите на вашу воплощенную Белую Горячку, на вашего Грязного Плута и Подлого Шантажиста! Вглядитесь в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому негодяю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек и не смеет даже раскрыть рот, чтобы опровергнуть хоть одну из них».

Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и, чувствуя себя глубоко униженным, я засел за «ответ» на весь этот ворох незаслуженных грязных поклепов. Но мне так и не удалось закончить мою работу, так как на следую-

щее утро в одной из газет появилась новая ужасная и злобная клевета; меня обвинили в том, что я поджег сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот-вот сойду с ума. Но этого мало: меня обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по протекции своих выживших из ума беззубых родственников на должность разжевывателей пищи для питомцев. У меня голова пошла кругом. Наконец бесстыдная травля, которой подвергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему-то наущению во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: «Папа!»

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался:

«С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне:

Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист

Марк Твен».

НАУКА ИЛИ УДАЧА

— В те времена, — начал свой рассказ мистер К., — азартные игры в штате Кентукки строго преследовались. Однажды десять или двенадцать молодых людей были застигнуты, когда они играли на деньги в «семерку». Эта игра известна также под названием «старые санки». Дело подлежало рассмотрению в суде, защитником должен был выступить Джим Сторджис. Чем более раздумывал Сторджис и чем внимательнее вчитывался он в показания свидетелей, тем яснее ему становилось, что дело совсем безнадежное. Молодые люди действительно были застигнуты за азартной игрой, играли на деньги, от этого никуда не уйдешь. Опрометчивость Сторджиса вызвала сочувствие к нему в обществе. «Стоило ли губить столь блестяще начатую карьеру, брать защиту в скандальном деле, которое наверняка окончится обвинительным приговором?» — так думали все.

Несколько суток Сторджис не смыкал глаз, зато однажды наутро поднялся в прекраснейшем настроении: его осенила идея; он, кажется, нашел выход. Весь день он провел у своих подзащитных, а также конфиденциально беседовал в узком кругу друзей. В суде он признал и игру в «семерку», и то, что игра шла на деньги, но вслед за тем объявил недрогнувшим голосом, что не считает «семерку» *азартной игрой*. Никто в зале не смог удержаться от смеха. Улыбнулся и сам судья. Лицо Сторджиса оставалось бесстрастным, даже суровым. Прокурор попытался высмеять Сторджиса — но без успеха. Судья затейливо пошутил по поводу занятой адвокатом странной позиции, но на

Сторджиса не повлияло и это. Наступила заминка. Судья выразил нетерпение, спросив, не слишком ли далеко зашла шутка защиты? Джим Сторджис ответил, что совсем не склонен шутить, но не допустит, чтобы его подзащитные сели в тюрьму лишь потому, что кому-то угодно считать «семерку» азартной игрой. Он требует доказательств. Судья возразил, что доказать это — дело нетрудное, и вызвал из публики четырех дьяконов — Джаба, Питерса, Бэрка и Джонсона и двух школьных учителей — Вирта и Миггдса. Все они опровергли юридическую увертку Сторджиса, объявив с большим жаром «семерку» — *азартной* игрой, в которой выигрывает тот, на чьей стороне удача.

— Что вы скажете на это? — спросил судья.

— Я скажу, что «семерка» *научная* игра! — сказал Сторджис. — И не замедлю представить вам веские доводы.

Стратегический план защиты стал для всех ясен.

Сторджис вызвал кучу свидетелей, которые привели множество доводов в пользу того, что «семерка» игра строго *научная*.

Дело, которое казалось проще простого, сделалось весьма заковыристым. Судья почесал в затылке и сказал, что не видит выхода. И истцы и ответчики могут, как видно, набрать любое число показаний в свою пользу. Судья добавил, что в интересах решения дела он готов сделать шаг навстречу защите, если защита имеет что предложить.

В ту же минуту Сторджис был на ногах:

— Назначьте двенадцать присяжных, шестерых, кто стоит за *удачу*, и шестерых, кто стоит за *науку*. Пусть возьмут две колоды карт, запасутся свечами и идут в совещательную комнату. Правда себя покажет.

Против этого возразить было нечего. Четыре дьякона и два школьных учителя принесли присягу как сторонники теории удачи. Шесть поседевших в боях ветеранов «семерки» выступили как сторонники научной теории. Присяжные удалились.

Прошло часа два, и преподобный Питерс прислал человека, чтобы занять три доллара у одного из своих друзей. (Движение в публике.) Еще через два часа учитель Миггдс прислал человека за тем же. (Снова движение в зале.) В течение следующих трех-четырех часов второй учитель и остальные три дьякона произвели аналогичные мелкие займы. Публика, переполнявшая зал суда, не расходилась. Бычий угол давно не сталкивался со столь острой проблемой. Добавим, что она имела насущный практический интерес для каждого уважающего себя отца семейства в поселке.

Конец этой истории таков. На рассвете присяжные вышли в зал заседания, и их старшина, дьякон Джаб, прочитал вердикт:

«Мы, присяжные в деле штата Кентукки против Джона Уилера и других, тщательно рассмотрев обстоятельства дела и проверив теории и доводы, выдвинутые в процессе судебного следствия, единодушно решили, что игра, известная под названием «семерка» или «старые санки», является безусловно *не азартной*, а *научной* игрой. Предпринятая нами проверка указанных теорий и доводов выяснила, обнаружила, с очевидностью показала, что за целую ночь сторонники теории удачи не имели ни одного козыря и не выиграли ни единого кона, в то время как противная сторона многократно

демонстрировала и то и другое. В пользу нашего решения свидетельствует также и то, что сторонники теории удачи проигрались до последнего цента, и их деньги перешли к представителям противной теории. Вследствие чего мы, присяжные, заключаем, что теория удачи применительно к игре «семерка» или «старые санки» является пагубной и может принести неисчислимые страдания и тяжкий материальный ущерб всем, кто ей будет следовать».

— Вот как получилось, что в штате Кентукки «семерку» исключили из списка азартных игр и стали рассматривать как игру чисто научную и запрету не подлежащую, — сказал мистер К. — Решение суда получило силу закона и не оспорено по сей день.

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Двое-трое моих друзей обмолвились как-то в разговоре со мной, что если я напишу историю своей жизни, они, так и быть, между делом ее почитают. Не в силах противиться этим неистовым требованиям читающей публики, я составил свою автобиографию.

Я происхожу из старинного знатного рода, уходящего в самую глубь веков. Отдаленным прародителем Твенов был друг нашего дома по фамилии Хиггинс. Это было в одиннадцатом веке, когда наша семья жила в Англии (Абердин, графство Корк). Почему представители нашего рода сохранили материнскую фамилию Твенов вместо

фамилии Хиггинс (я не считаю тех случаев, когда они, шутки ради, скрывались под псевдонимами) — тайна, в которую Твены посторонних не посвящают. Это романтическая маленькая история, и лучше ее не касаться. Так принято во всех аристократических семьях.

Артур Твен был человеком незаурядных способностей — он промышлял на большой дороге во времена Уильяма Руфуса. Ему еще не было тридцати лет, когда ему пришлось прокатиться в Ньюгет, один из самых почтенных английских курортов, чтобы уладить там кое-какие дела. Назад он не возвратился, умер скоропостижно.

Огастес Твен снискал себе немалую славу около 1160 года. Это был прирожденный комик. Наточив свою старую шпагу и выбрав местечко потише, он темной ночью прокалывал запоздалых прохожих, чтобы поглядеть, как они будут подпрыгивать. Что называется юморист! Но он не был достаточно осторожен, и однажды власти захватили Огастеса, когда он снимал платье с жертвы своих развлечений. Тогда, отделив его голову от его тела, они выставили Огастеса в Темпл-Баре, откуда открывался замечательный вид на город и на проходящую публику. Никогда ранее этот Твен не занимал такого высокого и прочного положения.

В продолжение следующих двух столетий Твены отличались на поле брани. Это были достойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с поля боя с воплями в первых рядах.

Наше родословное древо имело всегда одну ветвь, которая шла под прямым углом и приносила плоды круглый год — как зимой, так и летом. Пусть это будет горь-

ким ответом на малоудачную остроту старика Фруассара.

В самом начале пятнадцатого столетия мы встречаем Красавца Твена, известного под кличкой Профессор. У него был такой удивительный, такой очаровательный почерк, и он умел так похоже изображать почерк других, что нельзя было без хохота на это смотреть. Он от души наслаждался своим редким талантом, пока ему не пришлось по приглашению правительства отправиться бить щебенку на проезжих дорогах, и эта работа, увы, повредила изяществу его почерка. Он все же увлекся своей новой специальностью и посвятил ей, с небольшими перерывами, сорок два года. Так, в трудах он и окончил свой жизненный путь. Все эти годы власти были очень довольны Профессором и заключали с ним новый контракт, как только старый кончался. Начальство его обожало. Он пользовался популярностью также среди коллег и состоял видным членом их клуба, который имел почему-то название «Каторжная команда». Этот Твен стриг волосы коротко, любил носить полосатый костюм и умер, оплакиваемый правительством. Страна потеряла в нем беззаветного труженика.

Несколько позже появляется знаменитый Джон Морган Твен. Он приехал в Америку вместе с Колумбом в 1492 году в качестве пассажира. По-видимому, у него был очень дурной характер. Он брюзжал всю дорогу, что его плохо кормят, и угрожал, что сойдет на берег, если не переменят меню. На завтрак он требовал свежего пузанка. Целыми днями он слонялся по палубе и отпускал шуточки в адрес Колумба, утверждая, что тот ни разу тут не был

и понятия не имеет, куда их везет. Достопамятный крик: «Земля!» потряс всех, но не Твена. Воззрившись через закопченный осколок стекла, он сказал: «Черта с два! Это плот!»

Когда этот сомнительный пассажир взошел на корабль, его имущество, завернутое в старый номер газеты, состояло из носового платка, помеченного «Б. Г.», бумажного носка с меткой «Л. В. К.», другого — шерстяного с меткой «Д. Ф.» и ночной сорочки с меткой «О. М.». Тем не менее он сильнее волновался о своем «чемодане» и больше о нем разглагольствовал, чем все остальные пассажиры, взятые вместе. Когда корабль зарывался носом и рулевое управление не действовало, он требовал, чтобы его «чемодан» передвинули ближе к корме, и лично проверял результаты. Если корабль черпал кормой, он снова бежал к Колумбу, чтобы тот дал матросов «перетащить обратно багаж». Во время шторма приходилось забивать ему в глотку кляп, потому что его вопли о судьбе «чемодана» заглушали слова команды. Ему не было, видимо, предъявлено обвинения в прямом нарушении закона, но в судовом журнале отмечено как «достойное внимания событие», что, хотя он принес свой багаж в старой газете, он высадился с четырьмя сундуками, не считая уже саквояжа и нескольких корзин из-под шампанского. Когда же он снова пришел на корабль, нахально утверждая, что кое-чего из вещей у него не хватает, и потребовал обыска, терпение его товарищей по путешествию лопнуло, и они швырнули его за борт. Долго следили они, не всплывет ли он где, но даже пузырька не появилось на ровной морской глади. Пока

все с азартом глазели, обнаружилось, что корабль дрейфует и тянет за собой повисший канат. В древнем, потемневшем от времени судовом журнале читаем такую любопытную запись:

«Позже узналось, что беспокойный наш пассажир нырнул, добрался до якоря, отвязал его от каната и продал на берегу богопротивному дикарю, утверждая, что нашел якорь в море, сукин он сын!»

При всем том этот Твен не был лишен благородных задатков, и наша семья с гордостью вспоминает, что он был первым белым человеком в Америке, который всерьез занялся духовным воспитанием индейцев и приобщил их к новейшей цивилизации. Он построил для них вместительную тюрьму, а рядом поставил виселицу и до последнего своего дня похвалялся, что ни один реформатор, трудившийся среди индейцев, не оказывал на них столь успокаивающего и возвышающего воздействия. О конце его жизни хроника сообщает скупо и только обиняками. Там говорится, что при повешении первого белого человека в Америке старый путешественник получил повреждение шейного позвонка, имевшее роковые последствия.

Правнук Реформатора процветал в семнадцатом веке и известен в нашей семейной хронике под именем Старого Адмирала (хотя историки знают его под другим именем). Он командовал маневренными, хорошо оснащенными и вооруженными кораблями и много способствовал увеличению быстроходности торговых судов. Купеческий корабль, за которым, не сводя с него орлиного взора, шел Адмирал, всегда пересекал океан с рекордной для

своего времени скоростью. Если он все же медлил, Адмирал распалялся гневом и, не будучи в силах сдержать свой протест, захватывал этот корабль и держал его у себя в ожидании, что владельцы явятся за имуществом (они этого, правда, не делали). Чтобы среди пленных матросов не завелось лежебок, Адмирал предписывал им гимнастику и после — купание. Это называлось «пройтись по доске». Матросы не жаловались. Во всяком случае, раз выполнив заданное, они не мозолили больше Адмиралу глаза. Не дождавшись судовладельцев, Адмирал сжигал корабли, чтобы страховая премия не пропадала впустую. Этот старый заслуженный мореход был зарезан в расцвете славы. Безутешная вдова повторяла до самой кончины, что если бы Адмирала прирезали пятнадцатью минутами раньше, он еще жил бы и жил.

Чарльз Генри Твен жил в конце семнадцатого столетия. Это был уважаемый и ревностный миссионер. Он обратил в христианство шестнадцать тысяч островитян в южных морях и неустанно внушал им, что человек, имеющий на себе из одежды всего лишь ожерелье из собачьих клыков да пару очков, не может считаться достаточно экипированным для посещения храма господня. Незлобивые прихожане нежно любили его, и, когда заупокойная церемония окончилась, они вышли из ресторана со следами слез на глазах и твердили на обратном пути, что такого мягкого миссионера им еще не приходилось встречать; жаль, что каждому досталось так мало.

Па-Го-То-Вах-Пакетекивис (Могучий охотник со Свиным Глазом) Твен украшал своим присутствием середину восемнадцатого столетия и помогал сколько мог

генералу Брэддоку воевать с угнетателем Вашингтоном. Укрывшись за деревом, он семнадцать раз стрелял в Вашингтона. Здесь я полностью присоединяюсь к очаровательному рассказу, вошедшему во все хрестоматии. Однако дальше в рассказе сообщается, что будто после семнадцати выстрелов, устрашенный неудачей, дикарь заявил, что раз Вечный Дух предназначил этого Вашингтона для великого дела, он более не поднимет на него свое святотатственное ружье. Тут я вынужден указать на серьезную погрешность против исторических фактов. На самом деле индеец сказал:

— Никакого (ик!) толку, стреляй не стреляй! Он так пьян, что не может прямо стоять. Разве в него попадешь? Дурень я буду, если истрачу (ик!) еще хоть один патрон.

Вот почему индеец остановился на семнадцатом выстреле. Он приводит простой и толковый резон; сразу чувствуется чистая правда.

Я люблю перечитывать этот рассказ даже в том виде, в каком он попал в хрестоматии. Но меня всегда мучила мысль, что, наверное, каждый индеец, участвовавший в этом бою и промахнувшийся дважды (два выстрела за сто лет легко вырастают в семнадцать), приходил к неизбежному выводу, что солдат, в которого он не попал, предназначен Вечным Духом для великого дела. И случай с Вашингтоном запомнился лишь потому, что пророчество сбылось (в других случаях — нет). Всех книг на свете не хватит, чтобы перечислить предсказания индейцев и других малоавторитетных пророков. Однако список пророчеств, которые сбылись, легко уместится у вас на ладони.

Хочу добавить, что некоторые из моих предков так хорошо известны в истории под псевдонимами, что было бы лишним вести здесь о них рассказ. Назову только главных: Ричард Бринсли Твен, он же Гай Фокс; Джон Уэнтворт Твен, он же Джек Шестнадцать ниток; Уильям Хоггерти Твен, он же Джек Шеппард; Анания Твен, он же барон Мюнхгаузен; Джон Джордж Твен, он же капитан Кидд. Упомяну еще Джорджа Фрэнсиса Трэна, Тома Пеппера, Навуходоносора и Валаамскую ослицу. Все эти лица тоже относятся к нашему роду, но только, как говорится, к боковой его линии. Как прочие Твены, они жаждали популярности, но в отличие от коренных представителей нашей фамилии, которые искали ее на виселице, эти ограничивались тем, что сидели в тюрьме.

Когда пишешь рассказ о предках, неразумно доводить его до самых ближайших родственников. Будет вернее, сказав несколько слов о прадедушке, перейти к самому себе, что я и делаю.

Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился без горба, и здесь преимущество на моей стороне. Мои родители были бедными — в меру и честными — тоже в меру.

А теперь мне приходит в голову, что жизнь моя слишком бесцветна по сравнению с моими предками и с рассказом о ней лучше повременить, пока меня не повесят. Жаль, что другие автобиографы, книги которых мне приходилось читать, не приняли в свое время такого решения. Как много бы выиграли все мы, читатели. Как вы считаете?

МОЯ ПЕРВАЯ БЕСЕДА С АРТИМЕСОМ УОРДОМ

Я никогда раньше с ним не встречался. Он привез рекомендательные письма от общих знакомых из Сан-Франциско и пригласил меня с ним позавтракать. У нас на серебряных рудниках считалось почти святотатством приступать к завтраку без коктейля из виски. Артимес с галантностью столичного жителя всегда подчинялся провинциальным обычаям и тотчас заказал три порции этого яда. Третьим за нашим столом был Хингстон. Я охотно пью, кажется, все на свете за исключением коктейля из виски. И я прямо сказал, что я им не компания; коктейль сразу ударит мне в голову, и через десять минут я буду ни на что не пригоден. Я не хотел бы при первом нашем знакомстве показаться умалишенным. Но Артимес просил не отказываться, и я проглотил коварный напиток, продолжая протестовать и зная, что соглашаться не следовало. Через несколько минут мне показалось, что мысли у меня путаются. В сильной тревоге я ждал начала беседы. Впрочем, меня еще не покидала надежда, что, быть может, я преувеличиваю свое опьянение и все как-нибудь обойдется.

После нескольких ничего не значащих замечаний Артимес принял необыкновенно сосредоточенный вид и произнес небольшую речь, показавшуюся мне несколько странной. Он сказал следующее:

— Пока не забыл, хочу вас кое о чем расспросить. Вы живете здесь, в вашем серебряном царстве, в Неваде, больше двух лет, и, конечно, вам, репортерам, приходилось спускаться вниз, в рудники, осматривать их, — сло-

вом, вы изучили рудничное дело до тонкости. Так вот, я хотел бы спросить, как эта руда расположена? Сейчас я вам поясню. Если я представляю правильно, эта жила — металл, серебро — зажата между пластами гранита и так под землей и идет, пока не проглянет наружу, вроде как край тротуара. Представим теперь нашу жилу толщиной, скажем, в сорок футов или, может быть, в семьдесят... нет, лучше возьмем все сто. Вы к ней роете шурф, вертикальный, а быть может, наклонный, тот, что зовется квершлагом, и спускаетесь вглубь на целых пятьсот футов — а быть может, хватит двухсот? — и идете за жилой вплотную, а она-то все уже и уже, и эти пласты гранита вот-вот поглотят ее... Впрочем, я не имею в виду, что они непременно сомкнутся, в особенности если геологическая обстановка в руднике такова, что они отстоят один от другого намного дальше обычного, и наука тут не поможет... Хотя, с другой стороны, при прочих равных условиях было бы странно, если бы не было так... И если взять за исходный пункт наше первое предположение и учесть все новейшие данные, то, конечно, можно извлечь и тот и другой вывод... Это уж без сомнения!.. Вы согласны со мной?

Я подумал: «Вот оно в точности, как я предвидел. Коктейль меня погубил. Даже устрица на моем месте и та поняла бы больше».

Затем я сказал:

— Разумеется. Да, без сомнения. Впрочем, если позволите... Не согласитесь ли вы повторить свой вопрос?

— Конечно, конечно. Это я виноват. Предмет для меня совсем новый, и я не сумел ясно выразиться.

— Да нет же, вина моя. Вы очень ясно сказали, но коктейль ударил мне в голову. Основное я понял, но я не усвоил деталей. Повторите еще раз, и я пойму все до конца.

Он сказал:

— Хорошо, повторю суть вопроса (тут он принял серьезнейший вид и стал загибать пальцы, отмечая важнейшее): наша жила, или, скажем, руда — как хотите — зажата двумя пластами гранита наподобие сандвича. Это ясно, не правда ли? Теперь вы копаете шурф, скажем, в тысячу футов или в тысячу двести (в конце концов это неважно) и подходите к жиле вплотную и бьете к ней штреки, иные перпендикулярно, а часть параллельно и именно в той ее части, где порода более серниста, — она ведь серниста, не так ли? Хотя, если вы меня спросите — пусть это и спорно, — я лично скажу, что рудокопу неважно, идет она там или нет, поскольку порода сопутствует жиле, хотя не вполне, и при других обстоятельствах любой среди нас ее бы вообще не заметил... Ну как, я прав или нет?

Я грустно сказал:

— Вы должны извинить меня, мистер Уорд. Я, конечно, сумел бы ответить на ваш вопрос, но проклятый коктейль ударил мне в голову. Я сейчас ни о чем не могу судить. Ведь я говорил вам...

— Не огорчайтесь, прошу вас. Я опять не сумел изложить свою мысль толково. Хотя я старался быть ясным...

— Ну, разумеется. Вы были предельно ясным. Чтобы не понять вас, нужно быть безнадежным кретином. Все дело в проклятом коктейле.

— Нет, не вините себя. Я еще раз попробую, и уж если теперь...

— Нет, умоляю вас, это будет впустую. Голова моя в таком состоянии, что я не сумею ответить на самый простой вопрос.

— Не бойтесь, я так поверну свой вопрос, что вы сразу поймете, в чем дело. Начнемте сначала (он перегнулся ко мне через стол, лицо его выразило глубокую озабоченность, и он приготовился пальцами правой руки загибать пальцы на левой, отмечая важнейшие пункты в своем рассуждении, а я, вытянув шею и напрягши все силы, приготовился или понять или погибнуть): — Так вот, эта штуковина, эта самая жила содержит в себе металл, серебро, и тем самым, понятное дело, она выступает, как последующий элемент в ряду предыдущих, действуя в пользу ближайших и в ущерб всем последующим, либо в ущерб всем ближайшим и в пользу последующих или индифферентно и к тем и к другим, а также учитывая относительную границу в радиусе распространения...

Я сказал:

— Теперь совершенно ясно, что у меня на плечах чурбан. Не старайтесь, не надо. Чем больше вы объясняете, тем меньше я понимаю.

Сзади послышался подозрительный шум. Я быстро обернулся и увидел, что Хингстон, укрывшись газетой, корчится от неодолимого смеха. Я взглянул на Уорда, он сбросил недавнюю важность и тоже смеялся. Меня разыграли. Под видом глубокомысленных рассуждений мне преподносили совершеннейший вздор. Артимес Уорд был одним из самых приятных людей на свете и замеча-

тельным собеседником. Про него шла молва, что он молчалив. Вспоминая нашу беседу, я позволю себе с этим не согласиться.

КАК МЕНЯ ПРОВЕЛИ В НЬЮАРКЕ

Редко бывает приятно сплетничать о самом себе, но в некоторых случаях человеку после исповеди становится легче. Вот и сейчас я желаю облегчить свою душу, хотя мне кажется, что я это делаю скорее из жажды предать гласности неблаговидный поступок другого человека, чем из желания пролить бальзам на раны своего сердца. (Я понятия не имею, что такое «бальзам», но, кажется, это выражение в данном случае как раз подходит.) Вы, может быть, помните, что я не так давно читал лекцию в Ньюарке молодым людям, членам какого-то общества? Ну, словом, я ее читал. Перед началом лекции мне пришлось беседовать с одним из упомянутых молодых джентльменов, и он сказал, что у него есть дядя, который неизвестно по какой причине навсегда утратил способность что-либо чувствовать. И со слезами на глазах этот молодой человек сказал:

— Ах, если б мне еще хоть раз увидеть, как он смеется! Ах, если б мне увидеть, как он плачет!

Я был тронут. Я не могу оставаться равнодушным к чужому горю.

Я сказал:

— Тащите вашего дядю на мою лекцию. Я его расшевелю. Я сделаю это для вас.

— Ах, если б только вам это удалось! Если б вам это удалось, вся наша семья стала бы за вас молиться, — мы так его любим! Ах, благодетель, неужели вы его заставите смеяться? Неужели вы вызовете живительные слезы на эти иссохшие веки?

Я был тронут до глубины души. Я сказал:

— Сын мой, приводите вашего старичка. У меня для этой лекции приготовлены такие анекдоты, что, если в нем осталась хоть капля смеха, он будет смеяться, а если эти не достигнут цели, то у меня имеются другие, — и тут он должен будет либо заплакать, либо умереть, ничего другого ему не останется.

Молодой человек призвал благословение на мою голову, прослезился и обнял меня, а потом побежал за своим дядей. Он посадил старика на самом виду, во второй ряд, и я начал его обрабатывать. Сначала я пустил в ход анекдоты полегче, потом потяжелее; я осыпал его плохими анекдотами и просто изрешетил хорошими; я выстреливал в него старыми, бородатыми анекдотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и с кормы новыми, с пыла горячими; я вошел в раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех пор, пока в горле не начало саднить, до бешенства, до ярости, — но ни разу не прошиб старика, не добился ни слезы, ни улыбки. Так-таки ничего! Ни признака улыбки, ни следа слез! Я был изумлен. Наконец я закончил лекцию последним воплем отчаяния, последней вспышкой юмора — запустил в него анекдотом сверхъестественной силы и потрясающего действия. Потом я сел на место, совсем растерявшись и выбившись из сил.

Президент общества, подойдя ко мне, смочил мою голову холодной водой и сказал:

— Чего это вы так разошлись напоследок?

Я ответил:

— Я старался рассмешить вон того старого осла во втором ряду.

Он сказал:

— Тогда вы зря потратили время: он глух, нем и к тому же слеп, как летучая мышь!

Ну, скажите, пожалуйста, хорошо ли было со стороны племянника этого старикашки так обмануть незнакомого человека, да еще круглого сироту? Я спрашиваю вас как друга, как ближнего своего: хорошо ли это было с его стороны?

ДИК БЕЙКЕР И ЕГО КОТ

Стоило Дику Бейкеру из поселка Дохлой Кобылы попасть в полосу неудач или поддаться унынию, он тотчас начинал вспоминать о необыкновенном коте, который был у него в старые годы. Известно, что когда рядом нет ни женщины, ни ребенка, мужчины заводят себе любимых животных, чтобы на них изливать запас нерастраченной нежности. Дик так говорил об этом коте и о его удивительных качествах, как будто и в самом деле считал, что тот был наделен от природы человеческими способностями, а, быть может, и сверхчеловеческими.

Помню один подобный рассказ. Дик сказал:

— Джентльмены! Был у меня кот. Звали его Том Кварц. Если бы вы его знали, он бы вам, конечно, понравился, да

и кому он мог не понравиться? Он жил у меня восемь лет, и это был самый замечательный кот, какого мне приходилось в своей жизни встречать. Здоровенный серый котище. В нем было больше здравого смысла, чем в любом из вас, джентльмены. А что касается чувства собственного достоинства, то он не позволил бы самому губернатору Калифорнии обойтись с ним без должного уважения. Он никогда не ловил крыс, был выше этого. Единственное, что его интересовало — это золотоискательство. Мой кот разбирался в золотоискательском деле лучше любого старателя. Едва ли вы смогли бы сообщить ему что-нибудь новое о работе на золотых россыпях; а что до гнездовых залежей, он был просто рожден для них. Когда мы с Джимом шли в горы разведывать, он выходил вместе с нами и пробежит, рядом, бывало, добрых пять миль. А когда нужно было решать, довольно ли золота в грунте — лучшего судьи просто не было — да разве об этом расскажешь? Он даст нам с часок покопать, потом пройдется кругом и, если мнение у него сложилось неважное, поглядит эдак косо на нас, все равно как если бы вымолвил: «Не привык тратить попусту время» и, не прибавив ни слова, нос кверху и — прямо домой. Если же место понравится, ляжет поблизости и ждет терпеливо, пока мы не промоем первый лоток. Потом подойдет поглядеть, что получилось. Если в лотке будет зерен шесть-семь, он вроде доволен; большего он и не требовал. Завалится на моей куртке спать и пыхтит, как паровоз, пока мы не подберемся к «гнезду». Тогда враз просыпается и ведет наблюдение.

Так и шло у нас дело, пока не началось увлечение глубинной добычей золота. Оно захватило нас всех поголов-

но, никто не копался больше на склонах, все работали с киркой и взрывчаткой. Никто не мыл землю, все били шурфы, не устоял и мой Джим; надо, говорит, и нам искать жилу. Для начала взялись копать шурф, а Том Кварц ума не приложит, что мы такое творим? Он в жизни не видывал, чтобы кто так искал в земле золото. Он был вне себя, иначе просто не скажешь. Он не мог взять в толк, в чем здесь штука и чем она пахнет. И не нравилось ему это, ох, как не нравилось. Он считал это глупейшей затеей. Был всегда против новомодных эдаких штучек, терпеть их не мог. Держался, я сказал бы, традиций. Время, однако, бежало, и Том Кварц стал немножко мириться с новым положением вещей, хотя и не мог понять, зачем копать землю впустую, не промыв ни разу лотка. И вот однажды, решившись, спустился он в шурф, чтобы лично взглянуть, в чем дело и в чем там загвоздка. А после того, как найдет на него меланхолия и небо в овчинку покажется — он-то знал, что мы с Джимом в долгах, а золота нет ни крупицы — сразу лезет вниз в шурф, свернется в углу и дрыхнет там на рогожке.

И вот как-то раз — шурф был уже футов восемь, не меньше — мы добрались до твердой породы. Надо было ее взрывать. А это был наш первый отпал с той поры, как завелся Том Кварц.

Запалили мы шнур, выбрались вверх из шурфа, отошли эдак ярдов на пятьдесят и совсем позабыли, что Том Кварц спит внизу на рогожке. Не прошло и минуты, из шурфа показался дымок, а за ним раздался страшный взрыв и несчитанные тонны породы, земли и креплений взлетели на полторы мили кверху, и в самой середке,

клянусь спасением души, летел старина Том Кварц, кувыркаясь, чихая и фыркая, суча лапками как одержимый. Ну что тут поделаешь, сами понимаете, что тут поделаешь?! Он исчез в вышине, и мы его потеряли из виду. А потом обрушился град из камней, креплений и прочего и — шлеп! — в десяти футах от нас приземлился Том Кварц. Я не преувеличу, если скажу, что в этот момент он показался нам самым странным зверем на свете. Хвост дыбом, одно ухо вывернуто, брови опалены, весь в саже, в дыму и в песке. Ну, что ж, извиняться вроде было без пользы: мы смотрели на него и молчали. А он оглядел себя вроде как с отвращением, потом глянул на нас, да так глянул, словно громко сказал: «Что ж, джентльмены, может быть, это по-вашему и остроумно сыграть подобную шутку с котом, который не искушен в новейших золотоискательских методах. А я на это дело смотрю совершенно иначе». Повернулся кругом и — домой. Больше ни единого слова. Это было, скажу я вам, полностью в его стиле. И хотите верьте, хотите нет, но после этого случая вы не нашли бы другого кота, который был бы так сильно предубежден против подземной добычи золота.

Когда, немного спустя, он снова начал спускаться за нами в шурф, то стал проявлять просто чудеса проницательности. Стоило нам заложить взрывчатку и взяться за шнур, он взглянет эдак на нас, как если бы хотел нам сказать: «Прошу прощения, друзья, но я не располагаю свободным временем». И вы поглядели бы, с какой быстротой он выбирался из шурфа и лез на самое высокое дерево. Скажете, сообразительность? Нет!

Здесь это словцо не пойдет. Ясновидение, вот что это было такое!

— Действительно, мистер Бейкер, — сказал я, — предубеждение вашего кота против подземной добычи золота достойно всяческого удивления, в особенности, если припомнить, при каких обстоятельствах оно у него появилось. Не пытались ли вы излечить его от этого предрассудка?

— Излечить? Ну уж нет. Если Том Кварц что вбил себе в голову, то значит навеки. Взорвите его пять тысяч раз, и все равно вы не излечите его от этого чертова предрассудка.

Я никогда не забуду, какой горделивой нежностью осветилось лицо Дика Бейкера при этом последнем воспоминании о непоколебимом характере его смиренного друга.

РАЗГОВОР С ИНТЕРВЬЮЕРОМ

Вертлявый, франтоватый и развязный юнец, сев на стул, который я предложил ему, сказал, что он прислан от «Ежедневной Грозы», и прибавил:

— Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас интервью?

— Приехали для чего?

— Взять интервью.

— Ага, понимаю. Да, да. Гм! Да, да.

Я неважно себя чувствовал в то утро. Действительно, голова у меня что-то не варила. Все-таки я подошел к книж-

ному шкафу, но, порывшись в нем минут шесть-семь, принужден был обратиться к молодому человеку. Я спросил:

— Как это слово пишется?

— Какое слово?

— Интервью.

— О, боже мой! Зачем вам это знать?

— Я хотел посмотреть в словаре, что оно значит.

— Гм! Это удивительно, просто удивительно. Я могу вам сказать, что оно значит, если вы... если вы...

— Ну что ж, пожалуйста! Буду очень вам обязан.

— И-н, ин, т-е-р, тер, интер...

— Так, по-вашему, оно пишется через «и»?

— Ну конечно!

— Ах, вот почему мне так долго пришлось искать.

— Ну а по-вашему, уважаемый сэр, как же надо писать это слово?

— Я... я, право, не знаю. Я взял полный словарь и полистал в конце, не попадется ли оно где-нибудь среди картинок. Только издание у меня очень старое.

— Но, друг мой, такой картинки не может быть. Даже в самом последнем изд... Простите меня, я не хочу вас обидеть, но вы не кажетесь таким... таким просвещенным человеком, каким я себе вас представлял. Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть.

— О, не стоит извиняться! Я часто слышал и от таких людей, которые мне не станут льстить и которым нет нужды мне льстить, что в этом отношении я перехожу всякие границы. Да, да, это их всегда приводит в восторг.

— Могу себе представить. Но вернемся к нашему ин-

тервью. Вы знаете, теперь принято интервьюировать каждого, кто добился известности.

— Вот как, в первый раз слышу. Это, должно быть, очень интересно. И чем же вы действуете?

— Ну, знаете... просто в отчаяние можно прийти. В некоторых случаях следовало бы действовать дубиной, но обыкновенно интервьюер задает человеку вопросы, а тот отвечает. Теперь это как раз в большой моде. Вы разрешите задать вам несколько вопросов для уяснения наиболее важных пунктов вашей общественной деятельности и личной жизни?

— О пожалуйста, пожалуйста. Память у меня очень неважная, но, я надеюсь, вы меня извините. То есть она какая-то недисциплинированная, даже до странности. То скачет галопом, а то за две недели никак не может доползти куда требуется. Меня это очень огорчает.

— Не беда, вы все-таки постарайтесь припомнить, что можете.

— Постараюсь. Приложу все усилия.

— Благодарю вас. Вы готовы? Можно начать?

— Да, я готов.

— Сколько вам лет?

— В июне будет девятнадцать.

— Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. Где вы родились?

— В штате Миссури.

— Когда вы начали писать?

— В тысяча восемьсот тридцать шестом году.

— Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет?

— Не знаю. Действительно, что-то странно.

— Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы встречались?

— Аарона Барра.

— Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет.

— Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы познакомились с Барром?

— Это вышло случайно, на его похоронах: он попросил меня поменьше шуметь и...

— Силы небесные! Ведь если вы были на его похоронах, значит он умер, а если он умер, не все ли ему было равно, шумите вы или нет.

— Не знаю. Он всегда был на этот счет очень привередлив.

— Все-таки я не совсем понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и что он умер?

— Я не говорил, что он умер.

— Но ведь он умер?

— Ну, одни говорили, что умер, а другие, что нет.

— А вы сами как думаете?

— Мне какое дело? Хоронили-то ведь не меня.

— А вы... Впрочем, так мы в этом вопросе никогда не разберемся. Позвольте спросить вас о другом. Когда вы родились?

— В понедельник, тридцать первого октября тысяча шестьсот девяносто третьего года.

— Как! Что такое! Вам тогда должно быть сто восемьдесят лет? Как вы это объясняете?

— Никак не объясняю.

— Но вы же сказали сначала, что вам девятнадцать лет, а теперь оказывается, что вам сто восемьдесят. Чудовищное противоречие!

— Ах, вы это заметили? (Рукопожатие.) Мне тоже часто казалось, что тут есть противоречие, но я как-то не мог решить, есть оно или мне только так кажется. Как вы быстро все подмечаете!

— Благодарю за комплимент. Есть у вас братья и сестры?

— Э-э... я думаю, что да... впрочем, не могу припомнить.

— Первый раз слышу такое странное заявление!

— Неужели?

— Ну конечно, а как бы вы думали? Послушайте! Чей это портрет на стене? Это не ваш брат?

— Ах, да, да, да! Теперь вы мне напомнили: это мой брат. Это Уильям, мы его звали Билл. Бедняга Билл.

— Как? Значит, он умер?

— Да, пожалуй, что умер. Трудно сказать наверняка. В этом было много неясного.

— Грустно слышать. Он, по-видимому, пропал без вести?

— Д-да, вообще говоря, в известном смысле это так. Мы похоронили его.

— Похоронили его! Похоронили, не зная, жив он или умер?

— Да нет! Не в том дело. Умереть-то он действительно умер.

— Ну, признаюсь, я тут ничего не понимаю. Если вы его похоронили и знали, что он умер...

— Нет, нет! Мы только думали, что он умер...

— Ах, понимаю! Он опять ожил?

— Как бы не так!

— Ну, я никогда ничего подобного не слыхивал! Человек умер. Человека похоронили. Что же тут неясного?

— Вот именно! В том-то и дело! Видите ли, мы были близнецы — мы с покойником, — нас перепутали в ванночке, когда нам было всего две недели от роду, и один из нас утонул. Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл. А другие — что я.

— Просто неслыханно! А вы сами как думаете?

— Одному богу известно! Я бы все на свете отдал, лишь бы знать наверное. Эта зловещая, ужасная загадка омрачила мою жизнь. Но я вам раскрою тайну, о которой никому на свете до сих пор не говорил ни слова. У одного из нас была особая примета — большая родинка на левой руке; это был я. Так вот этот ребенок и утонул.

— Ну и прекрасно. В таком случае не вижу никакой загадки.

— Вы не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как они могли до такой степени растеряться, что похоронили не того ребенка. Но ш-ш! И не заикайтесь об этом при моих родных. Видит бог, у них и без того немало горя.

— Ну, я думаю, материала у меня набралось довольно, очень признателен вам за любезность. Но меня заинтересовало ваше сообщение о похоронах Аарона Барра. Не скажете ли вы, какое именно обстоятельство заставляет вас считать Барра таким замечательным человеком?

— О! Сущий пустяк! Быть может, только один чело-

век из пятидесяти обратил бы на это внимание. Панихида уже окончилась, процессия уже собиралась отправиться на кладбище, покойника честь честью устроили на катафалке, как вдруг он сказал, что хочет в последний раз полюбоваться пейзажем, встал из гроба и сел рядом с кучером.

Молодой человек почтительно и поспешно откланялся. Он был очень приятным собеседником, и я пожалел, что он уходит так быстро.

МАК-ВИЛЬЯМСЫ И КРУП

(Рассказано автору мистером Мак-Вильямсом, симпатичным джентльменом из Нью-Йорка, с которым автор случайно познакомился в дороге)

— Ну-с, так вот, чтобы вернуться к нашему разговору... — я отклонился в сторону, рассказывая вам, как в нашем городе свирепствовала эта ужасная и неизлечимая болезнь круп и как все матери сходили с ума от страха, — я как-то обратил внимание миссис Мак-Вильямс на маленькую Пенелопу и сказал:

— Милочка, на твоем месте я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку.

— Милый, ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ребенка щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание; я хочу сказать: замужние женщины.

Я ответил:

— Дорогая, всем известно, что сосна является наи-

менее питательным из всех сортов дерева, какие может жевать ребенок.

Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороге и опять легла на колени. Миссис Мак-Вильямс сдержалась (это было заметно) и сказала:

— Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь: все доктора как один говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике.

— Ах, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник и что наш домашний врач посоветовал...

— А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник?

— Дорогая, ты сама мне подала эту мысль.

— Ничего подобного! Никогда я этой мысли не подавала!

— Ну что ты, милая! И двух минут не прошло, как ты сказала...

— Ничего я не говорила! Да все равно, если даже и сказала! Девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь. И она будет жевать сколько захочет. Да, будет!

— Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу два-три воза самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда я...

— Ах, ступай, ради бога, в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем споришь и что говоришь.

— Очень хорошо, пусть будет по-твоему. Но я не вижу логики в твоем последнем замечании, оно...

Я не успел еще договорить, как миссис Мак-Вильямс демонстративно поднялась с места и вышла, уводя с собою ребенка. Когда я вернулся домой к обеду, она встретила меня белая, как полотно.

— Мортимер, еще один случай! Заболел Джорджи Гордон.

— Круп?

— Круп!

— Есть еще надежда на спасение?

— Никакой надежды. О, что теперь с нами будет!

Скоро нянька привела нашу Пенелопу попрощаться на ночь и, как всегда, прочитать молитву, стоя на коленях рядом с матерью.

Не дочитав и до половины, девочка вдруг слегка закашлялась. Моя жена вздрогнула, словно пораженная насмерть. Но тут же оправилась и проявила ту кипучую энергию, какую обыкновенно внушает неминуемая опасность.

Она велела перенести кроватку ребенка из детской в нашу спальню и сама пошла проверить, как выполняют ее приказание. Меня она, конечно, тоже взяла с собой. Все было устроено в два счета. Для няньки поставили раскладную кровать в туалетной. Но тут миссис Мак-Вильямс сказала, что теперь мы будем слишком далеко от второго ребенка: а вдруг и у него появятся ночью симптомы? И она опять вся побелела, бедняжка.

Тогда мы водворили кроватку и няньку обратно в

детскую и поставили кровать для себя в соседней комнате.

Однако миссис Мак-Вильямс довольно скоро высказала новое предположение: а что, если малютка заразится от Пенелопы? Эта мысль опять повергла в отчаяние ее материнское сердце, и, хотя мы все вместе старались вынести кроватку из детской как можно скорее, ей казалось, что мы копаемся, несмотря на то, что она сама помогала нам и второпях чуть не поломала кроватку.

Мы перебрались вниз, но там решительно некуда было девать няньку, между тем миссис Мак-Вильямс сказала, что ее опыт для нас просто неоценим. Поэтому мы опять вернулись со всеми пожитками в нашу собственную спальню, чувствуя великую радость, как птицы, после бури вернувшиеся в свое гнездо.

Миссис Мак-Вильямс побежала в детскую — посмотреть, что там делается. Через минуту она вернулась, гонимая новыми страхами. Она сказала:

— Отчего это малютка так крепко спит?

Я ответил:

— Что ты, милочка, он всегда спит как каменный.

— Знаю. Я знаю. Но сейчас он спит как-то особенно. Он отчего-то дышит так... так ровно... Это ужасно!

— Но, дорогая, он всегда дышит ровно.

— Да, я знаю, но сейчас мне что-то страшно. Его няня слишком молода и неопытна. Пусть с ней останется Мария, чтобы быть под рукой на всякий случай.

— Мысль хорошая, но кто же будет помогать тебе?

— Мне поможешь ты. А впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время, я все сделаю сама.

Я сказал, что с моей стороны было бы низостью лечь в постель и спать, когда она, не смыкая глаз, будет всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Но она уговорила меня лечь. Старуха Мария ушла на свое прежнее место, в детскую.

Пенелопа во сне кашлянула два раза.

— О боже мой, почему не идет доктор! Мортимер, в комнате слишком жарко. Выключи отопление, скорее!

Я выключил отопление и посмотрел на градусник, удивляясь про себя: неужели двадцать градусов слишком жарко для больного ребенка?

Из города вернулся кучер и сообщил, что наш доктор болен и не встает с постели. Миссис Мак-Вильямс взглянула на меня безжизненными глазами и сказала безжизненным голосом:

— Это рука провидения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жили не так, как надо, Мортимер. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь, вот результаты. Наша девочка не поправится. Хорошо, если ты сможешь простить себе; я же себе никогда не прощу.

Я сказал, не намереваясь ее обидеть, но, быть может, не совсем осторожно выбирая слова, что не вижу, чем же мы плохо жили.

— Мортимер! Ты и на малютку хочешь навлечь кару божию!

И тут она начала плакать, но потом воскликнула:

— Но ведь доктор должен был прислать лекарства!

Я сказал:

— Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты мне позволишь сказать хоть слово.

— Хорошо, подай их мне! Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда? Впрочем, какой смысл посылать лекарства, ведь он же знает, что болезнь неизлечима!

Я сказал, что, пока ребенок жив, есть еще надежда.

— Надежда! Мортимер, ты говоришь, а сам ничего не смыслишь, хуже новорожденного младенца. Если бы ты... Боже мой, в рецепте сказано — давать по чайной ложечке через час! Через час — как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка! Мортимер, скорее, пожалуйста! Дай нашей умирающей бедняжке столовую ложку лекарства, ради бога, скорее.

— Что ты, дорогая, от столовой ложки ей может...

— Не своди меня с ума... Ну, ну, ну, мое сокровище, моя деточка, лекарство гадкое, горькое, но от него Нелли поправится... поправится мамина деточка, сокровище, будет совсем здоровенькая... Вот, вот так, положи головку маме на грудь и усни, и скоро, скоро... Боже мой, я чувствую, она не доживет до утра! Мортимер, если давать столовую ложку каждые полчаса, тогда... Ей нужно давать белладонну, я знаю, что нужно, и аконит тоже. Достань и то и другое, Мортимер. Нет уж, позволь мне делать по-своему. Ты ничего в этом не понимаешь.

Мы легли, поставив кроватку как можно ближе к изголовью жены. Вся эта суматоха утомила меня, и минуты через две я уже спал как убитый.

Меня разбудила миссис Мак-Вильямс:

— Милый, отопление включено?

— Нет.

— Я так и думала. Пожалуйста, включи поскорее. В комнате страшно холодно.

Я повернул кран и опять уснул.

Она опять разбудила меня.

— Милый, не передвинешь ли ты кроватку поближе к себе? Так будет ближе к отоплению.

Я передвинул кроватку, но задел при этом за ковер и разбудил девочку. Пока моя жена утешала страдалицу, я опять уснул. Однако через некоторое время сквозь пелену сна до меня дошли следующие слова:

— Мортимер, хорошо бы гусиного сала... Не можешь ли ты позвонить?

Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, которая ответила громким воплем и получила бы за это пинок, если бы он не достался стулу.

— Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка!

— Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся.

— Кстати уж посмотри, цел ли стул... По-моему, сломался. Несчастная кошка, а вдруг ты ее...

— Что «вдруг я ее...»? Не говори ты мне про эту кошку. Если бы Мария осталась тут помогать тебе, все было бы в порядке. Кстати, это скорей ее обязанность, чем моя.

— Мортимер, как ты можешь так говорить? Ты не хочешь сделать для меня пустяка в такое ужасное время, когда наш ребенок...

— Ну, ну, будет, я сделаю все что нужно. Но я никого не могу дозваться. Все спят! Где у нас гусиное сало?

— На камине в детской. Пойди туда и спроси у Марии.

Я сходил за гусиным салом и опять лег. Меня опять позвали:

— Мортимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только поднести спичку.

Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии.

— Не сиди так, Мортимер, ты простудишься насмерть, ложись в постель.

Я хотел было лечь, но тут она сказала:

— Погоди минутку. Сначала дай ребенку еще лекарства.

Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и натерла с ног до головы гусиным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз.

— Мортимер, в комнате сквозняк. Очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину.

Я придвинул, опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис Мак-Вильямс вскочила с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я опять уснул ненадолго, потом встал, по ее просьбе, и приготовил припарку из льняного семени. Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительное действие.

Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двад-

цать минут мне приходилось вставать, поправлять огонь в камине и подкладывать дров, и это дало миссис Мак-Вильямс возможность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило большое облегчение. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчичники и разные другие снадобья вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и жена послала меня в подвал за новой порцией.

Я сказал:

— Дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке, должно быть, и без того тепло, она накрыта двумя одеялами. Может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок?

Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, как только может храпеть человек, измаявшись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечо; это привело меня в сознание. Жена смотрела на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказала:

— Все кончено, Мортимер! Все кончено! Ребенок вспотел! Что теперь делать?

— Боже мой, как ты меня испугала! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вынести на сквозняк?..

— Ты идиот! Нельзя терять ни минуты! Поезжай немедленно к доктору. Поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать живой или мертвый.

Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как

личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор сказал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он дал ей чего-то, она закатилась кашлем и наконец выплюнула маленькую щепочку.

— Никакого крупа у ребенка нет, — сказал он. — Девочка жевала сосновую щепку или что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно.

— Да, — сказал я, — конечно, не вредно, я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам это подтвердить.

Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты, — и это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо.

(Таким испытаниям, как мистер Мак-Вильямс, подвергались лишь очень немногие женатые люди. И потому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес для читателя.)

РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ!

Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи, пускай он попробует отыскать в них что-нибудь зловредное:

Кондуктор, отправляясь в путь,
Не рви билеты как-нибудь;
Стриги как можно осторожней,
Чтоб видел пассажир дорожный.
Синий стоит восемь центов,
Желтый стоит девять центов,
Красный стоит только три.
Осторожней режь, смотри!

Припев:

Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!
Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!

На днях эти звучные вирши попались мне на глаза в одной газете, и я прочел их раза два подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Все время, пока я завтракал, они вихрем кружились в моей голове, и когда я наконец свернул салфетку, то не мог толком вспомнить, ел я что-нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать сегодня один потрясающе драматический эпизод в начатом мною романе. Я ушел к себе в кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог написать ничего, кроме: «Режьте, братцы, режьте!» Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без всякой пользы. В голове у меня гудело: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов» и так далее и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром — я это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел, сколько мог, потом попробовал шагать быстрей. Однако это не помогло, стихи как-то сами применились к моей новой походке и терзали

меня по-прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до вечера; терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем; терзался, рыдал и декламировал весь вечер; лег в постель, ворочался, вздыхал — и все так же декламировал вплоть до полуночи; потом встал вне себя от ярости и попробовал читать, но буквы вихрем кружились передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом: «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!»

Дня через два, в субботу утром, я встал с постели совершенно разбитый и вышел из дому, как это было заранее условлено с моим близким другом, его преподобием мистером X., чтобы отправиться на прогулку к башне Толкотта, милях в десяти от нас. Мой друг посмотрел на меня пристально, но ни о чем не спросил. Мы отправились в путь. Мистер X. говорил, говорил, говорил без конца, по своему обыкновению. Я ни слова не отвечал ему: я ничего не слышал. После того как мы прошли около мили, мой друг сказал:

— Марк, ты болен? Я в жизни не видывал, чтобы человек был до такой степени измучен, бледен и рассеян. Скажи хоть что-нибудь, ну пожалуйста!

Без всякого одушевления, вялым голосом я произнес:

— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»

Мистер X. сначала уставился на меня растерянным взглядом, не находя слов, потом сказал:

— Марк, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь.

Как будто в твоих словах нет ничего особенного, и, уж, конечно, ничего печального, а все-таки... может быть... ты так их произносишь — ну прямо за сердце хватает. В чем тут...

Но я уже не слышал его. Я весь ушел в беспощадное, надрывающее сердце чтение: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри». Не помню, как мы прошли остальные девять миль. Вдруг мистер Х. положил руку мне на плечо и закричал:

— Проснись, проснись, да проснись же! Не спи на ходу! Ведь мы уже пришли к башне. Я успел наговориться до хрипоты, до глухоты, чуть не до слепоты, а ты мне так ни разу и не ответил. Посмотри, какой вокруг чудесный осенний пейзаж! Да посмотри же, посмотри! Полюбуйся на него! Ты же много путешествовал, видел в других местах прославленные красоты природы. Ну, выскажи свое мнение: нравится тебе или нет?

Я устало вздохнул и пробормотал:

— «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри!»

Его преподобие мистер Х. остановился и посмотрел на меня долгим и очень грустным взглядом, как видно сожалея обо мне, потом сказал:

— Марк, тут есть что-то непонятное для меня. Это почти те же самые слова, что ты говорил и раньше, в них как будто нет ничего особенного, а между тем они прямо-таки надрывают сердце. «Режьте, чтобы видел...» — как это там дальше?

Я начал с самого начала и повторил все до конца. Ли-

цо моего друга засветилось интересом. Он сказал:

— Какие пленительные рифмы! Это почти музыка. Они текут так плавно. Я, кажется, тоже запомнил их наизусть. Повтори, пожалуйста, еще разок, тогда я уж наверняка все запомню.

Я повторил. Потом мистер Х. прочел их сам. В одном месте он слегка ошибся, я его поправил. Во второй и третий раз он читал стихи уже без ошибки. И тут словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч. Мучительные вирши вылетели у меня из головы, и блаженное чувство мира и покоя снизошло на меня. На сердце у меня сделалось так легко, что я даже запел, и пел всю обратную дорогу домой, целых полчаса. После этого мой язык развязался, и слова после долгих часов молчания потекли рекой. Речь моя лилась свободно, радостно и торжествующе до тех пор, пока источник не иссяк и не пересох до самого дна. Пожимая на прощанье руку моему спутнику, я сказал:

— Правда, ведь мы провели время просто по-царски! Хотя я припоминаю теперь, за последние два часа ты не сказал ни слова. Ну же, ну, скажи хоть что-нибудь!

Его преподобие мистер Х. обратил ко мне потускневшие глаза, тяжело вздохнул и сказал без всякого оживления и, как видно, бессознательно:

— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно. Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»

Сердце мое болезненно сжалось, и я подумал про себя: «Ах, бедняга, бедняга! Теперь вот к нему перешло».

После этого я не виделся с мистером Х. дня два или три. Но во вторник вечером он вошел ко мне пошатыва-

ясь и, теряя последние силы, рухнул в кресло. Он был бледен, измучен; от него оставалась одна тень. Он поднял на меня свои угасшие глаза и начал:

— Ах, Марк, каким погибельным приобретением оказались эти жестокие вирши. Они все время терзали меня, словно кошмар, днем и ночью, час за часом, вплоть до этой самой минуты. С тех пор как мы с тобой расстались, я мучаюсь, как грешник в аду. В субботу утром меня неожиданно вызвали телеграммой в Бостон, и я выехал с ночным поездом. Умер один из моих старых друзей, и я должен был исполнить его просьбу — сказать на его похоронах надгробное слово. Я занял свое место в вагоне и принялся за сочинение проповеди. Но я так и не пошел дальше вступительной фразы, потому что, как только поезд тронулся и колеса завели свое «та-та́, тра-та-та́! та-та́, тра-та-та́», так сейчас же эти проклятые вирши приспособились к стуку колес. Целый час я сидел и подгонял под каждое отдельное стуканье каждый отдельный слог. От этого занятия я так измаялся, будто колол дрова целый день. Голова у меня просто лопалась от боли. Мне чудилось, что я непременно сойду с ума, если буду так сидеть, поэтому я разделся и лег. Я растянулся на койке... ну, ты сам должен понять, что из этого вышло. Продолжалось все то же «тра́-та, та́-та, синий стоит, тра́-та, та́-та, восемь центов; тра́-та, та́-та, желтый стоит, тра-та, та-та, девять центов», — и пошло, и пошло, и пошло: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». Сон? Ни в одном глазу. Приехал я в Бостон окончательно свихнувшимся. Насчет похорон лучше не спрашивай. Я делал все, что мог,

но каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена с «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно кивают в такт своими безмозглыми головами. И верь или не верь, Марк, дело твое, — я еще не добрался до конца, а уже все мои слушатели, сами того не зная, кивали торжественно и в унисон — все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую в состоянии, близком к исступлению. И надо случиться такому счастью: я тут же наткнулся на старую деву, тетушку покойного, всю в слезах, — она только что приехала из Спрингфилда и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала:

— Ах, ах, он скончался, а я так и не повидалась с ним перед смертью!

— Да, — сказал я, — он скончался, он скончался, он скончался, — неужели эта мука никогда не прекратится?

— Ах, так вы его любили! Вы тоже любили его!

— Любил его! Кого его?

— Ах, его! Моего бедного Джорджа, моего несчастного племянника!

— Гм, его! Да... о да, да! Конечно, конечно! «Режьте, братцы...» О, эта пытка меня доконает!

— Благослови вас господь, сэр, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невозвратимой утраты! Скажите, вы присутствовали при его последних минутах?

— Да! Я... при чьих последних минутах?

— Его, нашего дорогого покойника.

— Да! О да, да, да! Полагаю, что да, думаю, что да. Не знаю, право! Ах да, конечно, я там был, да, да, был!

— Ах, как я вам завидую, как завидую! А его последние слова? Скажите же мне, скажите, ради бога, какие были его последние слова?

— Он сказал... он сказал... ох, голова моя, голова... Да, он все твердил: «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» Ах, оставьте меня, сударыня! Во имя всего святого, оставьте меня с моим безумием, с моей мукой, с моей пыткой! «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три...», нет сил терпеть более. «Осторожней режь, смотри!»

Унылые глаза моего друга безнадежно взирали на меня в течение целой томительной минуты, затем он сказал с трогательным укором:

— Марк, ты ничего не говоришь. Ты не подаешь мне никакой надежды. Впрочем, боже мой, не все ли это равно, не все ли равно! Ты ничем не можешь мне помочь. Давно прошло то время, когда меня можно было утешить словами. Что-то подсказывает мне, что язык мой навеки осужден болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот, вот... опять на меня находит: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит...»

Бормоча эти слова замирающим шепотом, мой друг постепенно затих и впал в транс, в блаженном небытии позабыв о своих страданиях.

Как же я спас его в конце концов от сумасшедшего дома? Я свел его в университет по соседству, и там он передал бремя преследовавших его стихов внимательным

ушам несчастных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель у меня была самая достойная, даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на случай, если вам попадутся эти беспощадные вирши, — избегайте их, читатель, избегайте, как чумы!

РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОДУШНЫХ ПОСТУПКАХ

Всю мою жизнь, начиная с детских лет, я имел обыкновение читать известного рода истории, написанные в своеобразной манере Премудрого Моралиста, ради их назидательности и удовольствия, которое мне доставляло это чтение. Истории эти всегда лежали у меня под рукой, и в те минуты, когда я думал о человечестве дурно, я обращался к ним, — и они разгоняли это чувство; в те минуты, когда я чувствовал себя бессердечным эгоистом, негодяем и подлецом, я обращался к ним, — и они говорили мне, как надо поступить, чтобы снова уважать себя. Много раз я жалел, что эти прелестные истории останавливались на счастливой развязке, и мечтал узнать продолжение увлекательной повести о благодетелях и облагодетельствованных. Это чувство росло в моей душе с такой настойчивостью и силой, что я наконец решился узнать сам, чем кончились эти истории. Я принялся за дело и после многих неусыпных трудов и кропотливых изысканий довел его до

конца. Результаты я изложу перед вами, сопровождая каждую историю по очереди ее истинным продолжением, которое найдено и проверено мною.

БЛАГОДАРНЫЙ ПУДЕЛЬ

Сострадательный врач (который любил читать такие книжки), повстречав однажды бездомного пуделя со сломанной лапой, принес беднягу к себе домой, вправил и перевязал ему поврежденную лапу и, отпустив его на свободу, вскоре забыл о нем. Но каково же было его удивление, когда, отворив свою дверь в одно прекрасное утро, он нашел перед ней благодарного пуделя, терпеливо ожидавшего врача, в сопровождении другой бродячей собаки, у которой тоже была сломана лапа. Добрый врач немедленно оказал помощь несчастному животному, благоговейно преклоняясь перед неистощимой благостью и милосердием господа, который не пренебрег таким смиренным орудием, как бездомный пудель, для того чтобы укрепить... и т. д. и т. п.

Продолжение

На следующее утро сострадательный врач нашел у своих дверей двух собак, сияющих благодарностью, а с ними еще двух псов-калек. Калеки тут же были излечены, и все четыре отправились по своим делам, оставив сострадательного врача более чем когда-либо преисполненным благочестивого изумления. День миновал, наступило утро. Перед дверями сострадательного врача си-

дели теперь четыре побывавших в починке собаки, а с ними еще четыре, нуждавшиеся в починке. Прошел и этот день, наступило другое утро; теперь уже шестнадцать собак, из них восемь только что покалеченных, занимали тротуар, а прохожие обходили это место сторонкой. К полудню все сломанные лапы были перевязаны, но к благочестивому изумлению в сердце доброго врача невольно начали примешиваться кощунственные чувства. Еще раз взошло солнце и осветило тридцать две собаки, из них шестнадцать с переломленными лапами, занимавших весь тротуар и половину улицы; остальное место занимали зрители человеческой породы. Вой раненых собак, благодарный визг излеченных и комментарии зрителей производили большое, сильно действующее впечатление, но движение по этой улице прекратилось. Добрый врач послал заявление о выходе из числа прихожан своей церкви, чтобы ничто не мешало ему выражаться с той свободой, какая требовалась обстоятельствами. После этого он нанял двух хирургов себе в помощники и еще до темноты закончил свою благотворительную деятельность.

Но всему на свете есть предел. Когда еще раз блеснуло утро и добрый врач, выглянув на улицу, увидел несметное, необозримое множество воющих и просящих помощи собак, он сказал:

— Нечего делать, надо признаться, я был одурачен книжками; они рассказывают только лучшую половину истории и на этом ставят точку. Дайте-ка сюда ружье, дело зашло чересчур далеко.

Выйдя из дома с ружьем, он нечаянно наступил на

хвост первому облагодетельствованному пуделю, и тот немедленно укусил его за ногу. Надо сказать, что великое и доброе дело, которому посвятил себя этот пудель, пробудило в нем такой сильный и все растущий энтузиазм, что его слабая голова не выдержала и он взбесился. Через месяц, когда сострадательный врач в страшных мучениях погибал от водобоязни, он призвал к себе рыдающих друзей и сказал:

— Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории. Когда несчастный просит у вас помощи и вы сомневаетесь, к какому результату приведет ваша благотворительность, дайте волю вашим сомнениям и убейте просителя.

С этими словами он повернулся лицом к стене и отдал душу богу.

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Бедный и молодой начинающий литератор тщетно пытался пристроить куда-нибудь свои рукописи. Наконец, очутившись лицом к лицу со всеми ужасами голодной смерти, он рассказал свою печальную историю одному знаменитому писателю, прося у него совета и помощи. Этот великодушный человек немедленно отложил все свои дела и принялся за чтение одной из непринятых рукописей. Закончив это доброе дело, он сердечно пожал руку молодому человеку и сказал: «Ваша рукопись не лишена интереса; зайдите ко мне в понедельник». В назначенное время знаменитый писатель с любезной улыбкой, но не говоря ни слова, развернул перед начинающим литератором еще влажный, только что вышедший из печати номер журнала.

Каково же было изумление бедного молодого человека, когда он увидел, что в журнале напечатано его собственное произведение.

— Как смогу я отблагодарить вас за этот благородный поступок! — произнес он, падая на колени и разражаясь слезами.

Знаменитый писатель был известный Снодграс; бедный начинающий литератор, таким образом спасенный от безвестности и голодной смерти, — не менее известный впоследствии Снэгсби. Пусть этот случай убедит нас благосклонно выслушивать всех начинающих, которые нуждаются в помощи.

Продолжение

На следующей неделе Снэгсби пришел с пятью отвергнутыми рукописями. Знаменитый писатель слегка удивился, так как в книгах он читал, что молодому гению помощь требуется обычно только один раз. Однако он перепахал и эти страницы, срывая по пути лишние цветы красноречия и расчищая заросли прилагательных, после чего ему удалось пристроить еще две рукописи.

Прошло около недели, и благодарный Снэгсби явился с новым грузом. Удружив на первый раз молодому страдальцу, знаменитый писатель чувствовал глубочайшее внутреннее удовлетворение, сравнивая себя с великодушными героями в книжках; однако он начинал подозревать, что наткнулся на что-то новенькое по части великодушных поступков. Его энтузиазм несколько по-

остыл. Все же он не в силах был оттолкнуть молодого автора, пробивающего себе дорогу, тем более что тот льнул к нему с такой наивной простотой и доверчивостью.

И вот дело кончилось тем, что молодой начинающий литератор скоро оседлал знаменитого писателя. Все его слабые попытки сбросить этот груз не приводили ни к чему. Он должен был ежедневно давать советы своему юному другу, ежедневно поощрять его; он должен был пристраивать его рукописи в журналы, переписывая каждый раз все от слова до слова, чтобы придать вещи приличный вид. Когда наконец дебютант стал на ноги, он завоевал себе молниеносную славу, описав личную жизнь знаменитого писателя так саркастически и с такими язвительными подробностями, что книга разошлась во множестве экземпляров. И сердце знаменитого писателя не выдержало унижения. Испуская последний вздох, он сказал:

— Увы, книги обманули меня; они рассказывают не все. Берегитесь пробивающих себе дорогу литераторов, друзья мои. Кому бог уготовал голодную смерть, того да не спасет самонадеянно человек на свою же собственную погибель.

БЛАГОДАРНЫЙ СУПРУГ

Одна дама проезжала по главной улице большого города со своим маленьким сыном, как вдруг лошади испугались и бешено понесли, причем кучер был сброшен с козел, а седоки в коляске окаменели от страха. Но храб-

рый юноша, правивший бакалейным фургоном, бросился наперерез обезумевшим животным и остановил их на всем скаку, рискуя собственной жизнью[1]. Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героическом поступке своему мужу (который любил читать книжки), и он, проливая слезы, выслушал трогательный рассказ, а потом, возблагодарив совместно с дорогими его сердцу того, кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченным, послал за храбрым юношей и, вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал:

— Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюссон, и если вам понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макспаддена бьется в груди благодарное сердце.

Пусть это научит нас, что благое дело всегда приносит пользу тому, кто его творит, какое бы скромное положение он ни занимал.

Продолжение

Уильям Фергюссон зашел через неделю и попросил мистера Макспаддена воспользоваться своим влиянием и достать ему место получше, так как он чувствует себя способным на большее, чем править фургоном. Мистер Макспадден добыл ему место письмоводителя с хорошим жалованьем.

Вскоре заболела мать Уильяма Фергюссона, и Уиль-

---

[1] Вероятно, опечатка. — *М. Т.*

ям... Ну, короче говоря, мистер Макспадден согласился взять ее к себе в дом. Прошло немного времени, и она стосковалась по своим младшим детям, так что Мэри и Джулию тоже взяли в дом, а также и Джимми, их маленького брата. У Джимми был перочинный ножичек, в один прекрасный день он забрался в гостиную и менее чем в три четверти часа превратил мебель, стоившую десять тысяч долларов, в нечто, не имеющее определенной цены. Днем или двумя днями позже он упал с лестницы и сломал себе шею, и на похороны явилось человек семнадцать родственников. Так состоялось знакомство, и после этого кухня Макспадденов уже никогда не пустовала, а сами Макспаддены были заняты по горло, подыскивая им самые разнообразные занятия и опять подыскивая новые, когда эти им приедались. Старуха Фергюссон здорово пила и здорово ругалась, но благодарные Макспаддены знали, что должны терпеть и наставлять старуху, так как ее сын много для них сделал, и отдавали этому занятию все свои душевные силы. Уильям наведывался частенько, получал деньги — раз от разу все меньше, и выпрашивал новые, более высокие и доходные должности, которые благодарный Макспадден старался ему выхлопотать как можно скорее. Макспадден согласился также, после некоторых колебаний, устроить Уильяма в колледж, но когда подошли первые вакации и наш герой попросил, чтобы его отправили в Европу для укрепления здоровья, затравленный Макспадден взбунтовался и восстал против своего тирана. Он отказал напрямик и наотрез. Мать Уильяма Фергюссона так изумилась, что выронила из рук бутылку с джином и язык

ее отказался сквернословить. Несколько оправившись, она произнесла задыхаясь:

— Так вот она какая ваша благодарность? Где были бы ваша жена и ваш мальчик, если б не мой сын?

Уильям сказал:

— Так вот она какая ваша благодарность? Спас я вашу жену или нет? Скажите сами!

Семеро родственников толпой ввалились из кухни, и каждый повторил:

— И это ваша благодарность?

Сестры Уильяма укоризненно глядели, говоря:

— И это его благ...

Но тут их прервала мать, которая воскликнула, разражаясь слезами:

— Подумать только, что мой невинный голубок Джимми погиб, оказывая услуги такой гадине!

Тогда мятежный Максподден воспрянул духом и ответил, вспылив:

— Вон из моего дома, бродяги! Меня одурачили книги, но больше они меня не проведут — довольно и одного раза! — И, обернувшись к Уильяму, он воскликнул: — Да, вы спасли мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте!

Не будучи проповедником, я помещаю цитату в конце, а не в начале проповеди. Вот эта цитата из воспоминаний мистера Ноя Брукса о президенте Линкольне, напечатанных в «Скрибнерс монсли».

«Дж. Г. Гаккет в роли Фальстафа очень понравился м-ру Линкольну. Пожелав, как это было ему свойственно, выразить чувство признательности, Линкольн написал

актеру очень сердечную записку, в которой сообщал о том удовольствии, с каким он смотрел спектакль. Гаккет послал в ответ какую-то книгу, возможно, написанную им самим. Кроме того, он написал президенту несколько писем. Однажды вечером, довольно поздно, когда этот эпизод уже изгладился из моей памяти, я отправился по приглашению в Белый дом. Проходя в кабинет президента, я, к своему изумлению, заметил м-ра Гаккета, который сидел в приемной, очевидно, ожидая аудиенции. Президент спросил меня, есть ли там кто-нибудь. Услышав ответ, он сказал довольно грустным тоном:

— О нет, я не могу его принять, не могу; я надеялся, что он уже ушел. — Потом он прибавил: — Это показывает, как трудно иметь добрых друзей и знакомых в моем положении. Вы знаете, мне очень нравился Гаккет как актер, и я написал ему об этом. В ответ он прислал мне книжку, и я думал, что этим все и кончится. Он как будто мастер своего дела и занимает в театре прочное положение. И вот, только потому, что между нами была дружеская переписка, какая возможна между любыми двумя людьми, он чего-то хочет просить у меня. Как вы думаете, что ему нужно?

Я не мог угадать, и м-р Линкольн сказал:

— Он хочет быть консулом в Лондоне. О боже мой!..»

Скажу в заключение, что случай с Уильямом Фергюссоном действительно имел место и мне достоверно известен, хотя я изменил некоторые подробности, чтобы Уильям не был на меня в претензии.

Каждому читателю, я думаю, в какой-нибудь приятный и чувствительный час своей жизни случалось сыграть

роль героя рассказов о великодушных поступках. Я хотел бы знать, многие ли из них согласились бы рассказать об этом эпизоде, и любят ли они, когда им напоминают о том, что из него воспоследовало.

УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

I

Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутыль свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело.

Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек — дюймов пятидесяти, с укороченными педалями и резвый, как полагается жеребенку. Инструктор кратко описал его достоинства, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул машину — и вдруг все мы оказались на земле: внизу он, на нем я, а сверху машина.

Осмотрели машину — она нисколько не пострадала.

Это было невероятно. Однако инструктор уверил меня, что так оно и есть; и действительно, осмотр подтвердил его слова. Из этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне удалось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны, но и я свалился на левую, так что результат получился тот же самый.

Машина осталась невредима. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда, но, не знаю уж каким образом, я опять свалился прямо на него.

Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо-таки сверхъестественно: на машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромая, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я перелетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас: это смягчило удар, и он остался цел.

Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора; оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это оттого, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал

на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а по-моему — инструктор удобнее.

Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая. Они вчетвером держали изящную машину, покуда я взбирался на седло, и потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади; в финале участвовала вся команда.

Велосипед, что называется, писал восьмерки, и писал очень скверно. Для того чтобы усидеть на месте, от меня требовалось очень многое и всегда что-нибудь прямо-таки противное природе. Противное моей природе, но не законам природы. Иначе говоря, когда от меня что-либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом, а какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая таким образом закон природы. Закон требовал обратного: переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно — невозможно, настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные доказательства; сначала просто невозможно зас-

тавить себя действовать по-новому. Тут на первый план выступает разум: он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить новые.

С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-нибудь да выучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, что учиться немецкому языку: там тридцать лет бредешь ощупью и делаешь ошибки; наконец думаешь, что выучился, — так нет же, тебе подсовывают сослагательное наклонение — и начинай опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком: в том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все-таки, по-моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку — изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на полдороге.

Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче — садиться на него. Делается это так: скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и ухватившись за руль обеими руками. Когда скомандуют, становишься левой ногой на педаль, а правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе; наваливаешься животом на седло и падаешь — может, направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь — и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд.

Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, — вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю.

Однако на ушибы перестаешь обращать внимание довольно скоро и постепенно привыкаешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, доходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем, — конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе, и на время оставить педали в покое; а если сразу хвататься за педали, то дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед, и после небольшой практики это будет легко и просто, хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь.

Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию; соскакивать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается. Ничего особенного тут не требуется, и, по-видимому, это нетрудно, нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем, повернуть ко-

лесо влево и соскочить, как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком, точно с крыши. И каждый раз над тобой смеются.

II

В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени.

Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно: я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем; кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, каким образом? Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Если личный опыт чего-нибудь стоит в воспитательном смысле,

то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь, — и все-таки, если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы сначала спросить кого-нибудь, можно ли хвататься за провод. Но ему это как-то не подошло бы; он из тех самоучек, которые полагаются на опыт; он захотел бы проверить сам. И в назидание себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электрический провод; кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспитание — до тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с динамитом, чтобы узнать, что в ней находится.

Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя — это сбережет массу времени и свинцовой примочки.

Перед тем как окончательно распроститься со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс — лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал:

— Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из-под пальцев, в темноте его можно принять за устрицу в мешке.

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще:

— Это не беда, огорчаться тут нечего; немного погодя вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке.

После этого он со мной распростился и я отправился один искать приключений. Собственно, искать их не приходится, это так только говорится, — они сами вас находят.

Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок шириной ярдов в тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать.

Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко: не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора: «Хорошо, вот теперь правильно. Валяйте смелей, вперед!» Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахара.

Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади — вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в

сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил:

— Батюшки! Вот так летит во весь опор!

Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску; она засмеялась и хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно:

— Оставь его в покое, он едет на похороны.

Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть: но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема; он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, — и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал:

— Так, так! Отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся.

Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине.

В конце концов я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда при-

ходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, каждый мускул каменеет от напряжения, и начинаешь осторожно описывать кривую. Но нервы шалят и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье: все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки.

Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтоб довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-нибудь четырнадцать-пятнадцать ярдов свободного места. Окликнуть его я не мог — начинающему нельзя кричать: как только он откроет рот, он погиб; все его внимание должно принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и

вдохновенными движениями моей машины и соответственно извещал фермера:

— Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет.

Фермер начал сворачивать.

— Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра... Стой, где стоишь, не то тебе крышка!

Тут я как раз заехал подветренной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал;

— Черт полосатый! Что ж ты, не видел, что ли, что я еду?

— Видеть-то я видел, только почем же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделать?

Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже.

Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю.

В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слыхал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно

потому не может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной, однако выучился даже и этому.

Теперь я еду, куда хочу, и как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не исправится.

Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы.

МИССИС МАК-ВИЛЬЯМС И МОЛНИЯ

— ...Так вот, сэр, — продолжал мистер Мак-Вильямс, поскольку разговор начался не с этого, — боязнь молнии — одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощь потому, что она лишает человека мужества, как никакая другая болезнь, — ее не выбьешь уговорами, а

стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретить лицом к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии. На нее бывает просто жалко смотреть.

Ну-с, как я уже говорил вам, я проснулся оттого, что до моих ушей донесся сдавленный и неизвестно откуда идущий вопль:

— Мортимер, Мортимер!

Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал:

— Эванджелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты?

— Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза!

— Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Это ни с чем не сообразно. Человек не может стыдиться, когда спит, Эванджелина.

— Ты хоть бы постарался, Мортимер; сам отлично знаешь, что даже не пробовал!..

Я уловил звук заглушенных рыданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, и я изменил его на:

— Прости, дорогая, мне очень жаль! Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и...

— Мортимер!

— Ах ты господи! Что такое, душенька?

— Ты все еще лежишь в кровати?

— Ну да, конечно!

— Встань сию минуту! Я все-таки думала, что ты

сколько-нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко.

— Но, душенька...

— Не возражай, Мортимер! Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — лежать в кровати... Во всех книгах так сказано, а ты все-таки лежишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спорить и спорить!

— Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я...

(Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом миссис Мак-Вильямс и страшнейшим раскатом грома.)

— Ну вот! Видишь, какие последствия? Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время!

— Я не ругался. И во всяком случае — это не последствия. Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Эванджелина, что когда атмосфера заряжена электричеством...

— Да-да, тебе бы только спорить, и спорить, и спорить! Прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного громоотвода и твоей несчастной жене и детям остается только надеяться на милость божию!.. Что ты делаешь? Зажигаешь спичку... в такое время? Ты совсем с ума сошел?

— Ей-богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычника в желудке, вот я и...

— Погаси спичку, сию минуту погаси! Тебе, я вижу, никого не жалко, ты всеми нами готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет...

(Фсст! Трах! Бум! Бур-ум-бум-бум!) Вот... послушай! Видишь теперь, что ты наделал!

— Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спички, ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в мою спичку, так плохая же это стрельба, — я бы сказал, что-то вроде нуля из миллиона возможных. Да в Доллимаунте за такую стрельбу...

— Как тебе не стыдно, Мортимер! Нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выражаешься. Если ты не желаешь... Мортимер!

— Ну?

— Ты молился сегодня на ночь?

— Я... я хотел помолиться, а потом стал считать, сколько будет двенадцать раз тринадцать, и...

(Фсст! Бум-бурум-бум! Бум-бах-бах-трах!)

— Ах, теперь мы пропали, нас ничто не спасет! Как ты мог забыть такую важную вещь, да еще в такое время?

— Да ведь не было никакого «такого времени». На небе не было ни одной тучки. Почем же я знал, что из-за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком случае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны придираться: ведь это со мной бывает редко. После того как из-за меня случилось землетрясение четыре года назад, я ни разу не забывал молиться.

— Мортимер! Что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл?

— Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку, и, по-моему, совершенно зря. Если даже те-

леграмму в Мемфис нельзя послать прямо, а только через передаточные станции, то как же мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Я еще согласен отвечать за землетрясение, оно все-таки было по соседству, но лучше уж пускай меня повесят, чем отвечать черт знает за что...

(Фсст! Бум-бурум-бум! Бум! Бах!)

— О боже мой, боже мой! Молния во что-нибудь ударила! Я уже чувствую, Мортимер! Нам не дожить до утра... и если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимер, что твой ужасный язык... Мортимер!

— Ну! Что еще?

— Твой голос звучит так, будто ты... Мортимер, неужели ты сейчас стоишь перед камином?

— Да, вот именно, совершаю это преступление.

— Отойди от него подальше, сию минуту отойди! Ты, кажется, решил нас всех погубить! Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А теперь куда ты пошел?

— Я здесь, перед окном.

— Бога ради, в своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно! Даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу — просто гибель! Боже мой, боже мой, я знаю, что не доживу до утра!.. Мортимер!

— Да?

— Что это шуршит?

— Это я.

— Что ты там делаешь?

— Ищу, где верх у моих штанов.

— Скорее брось их куда-нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время! Ведь ты же отлично знаешь, все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию. О боже, боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще непременно нужно самому лезть на рожон... Нет, пожалуйста, не пой! О чем ты только думаешь?

— Ну, а что тут такого?

— Мортимер, я тебе не один раз, я сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывают электрический ток... Для чего ты открываешь дверь, скажи, пожалуйста?

— Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред?

— Какой вред? Смертельная опасность! Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк — значит, привлекать молнию. Ты все-таки не закрыл дверь! Закрой ее как следует, и поскорей, не то мы все пропали! Какой ужас — быть в такое время в одной комнате с сумасшедшим... Мортимер, что ты делаешь?

— Ничего. Просто открыл кран. В комнате задохнуться можно — такая духота. Хочу умыться.

— Ты, я вижу, совсем потерял рассудок! Если во что-нибудь другое молния ударит один раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран! О боже, я знаю, нас уже ничто на свете не может спасти! Мне кажется... Мортимер, что это такое?

— Это черт... это картина. Я ее сшиб.

— Так, значит, ты подошел к стене! Просто неслыханная неосторожность! Разве ты не знаешь, что самый

лучший проводник молнии — это стена? Отойди подальше! А ты еще хотел выругаться! Ну как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности?! Мортимер, ты велел положить себе перину, как я тебя просила?

— Нет. Забыл.

— Забыл! Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перина, ты бы разостлал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди скорей, пока еще не наделал бог знает чего.

Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать было нечем. Я чуть не задохся и наконец вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня:

— Мортимер, надо что-то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу, только не зажигай. Дай спички, я сама зажгу свечку здесь. В книге сказано, что делать.

Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затворилась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое, потом она спросила:

— Мортимер, что это?

— Ничего особенного, кошка.

— Кошка? Да ведь это погибель! Поймай ее и запри в комод. И как можно скорее, милый! Кошки полны электричества. Нет, я знаю одно — за эту ужасную ночь я вся поседею!..

Я опять услыхал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевельнул в темноте ради такой дикой затеи.

Однако я принялся ловить кошку; натыкаясь на сту-

лья и другие препятствия, все очень жесткие и почти все с острыми краями, я наконец поймал ее и запер в комод, поломав долларов на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шкафа приглушенные слова:

— Тут говорится, что самое безопасное — стоять на стуле посреди комнаты, Мортимер, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы... (Фст! Бумбах! Трах!) Ох, ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило.

Я кое-как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций.

— Мортимер, тут говорится: «Während eines Gewitters entferne man Metalle wie z. B., Ringe, Uhren, Schlüssel, etc. von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle bei einander liegen, oder mit andern Körpern verbunden sind, wie an Herden, Oefen, Eisengittern und dgl...»[1]. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе или что их нужно держать подальше от себя?

— Я, право, не знаю. Что-то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают более или менее запутаны. По-моему, все-таки это предложение почти все в дательном падеже, ну и подмешано чуть-чуть родительного

---

[1] Во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например, часы, кольца, ключи и т. д.; не оставайтесь в таких местах, где они нагромождены или находятся в соединении с другими телами — например, около плиты, печи, железной решетки и т. п. *(нем.)*.

и винительного на всякий случай, — так что, я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе.

— Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громоотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся металлическая.

Я достал и надел каску — вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в душной комнате. Даже ночная рубашка и та казалась мне лишней.

— Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю.

Я повиновался.

— Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры?

Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение.

— Мортимер, тут говорится: «Das Gewitterläuten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst, sowie der durch das Lauten veranlasste Luftzug und die Höhe des Thurmes den Blitz anziehen könnten» [1]. Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы?

— Да, кажется, так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже единственного числа, — а по-моему, оно так и есть. Да, я думаю, это значит, что при большой высоте церковной колокольни и отсутствии «Luftzug» [2] очень опасно (sehr gefährlich) не звонить

---

[1] Бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол, и тяга воздуха, возникающая при звоне, и колокольня благодаря своей высоте могут притягивать молнию *(нем.)*.

[2] Воздушной тяги *(нем.)*.

в колокола во время грозы; тем более, видишь ли, что самая расстановка слов...

— Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры! Возьми большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти в безопасности. О господи! Кажется, мы все-таки останемся живы!

Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов, над спуском в долину. По соседству находится несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трехстах — четырехстах от нас.

Взобравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или восемь, как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, в окно кто-то просунул ярко горящий фонарь и хриплым голосом спросил:

— Что тут за дьявольщина такая творится?

В окно просунулись чьи-то головы, чьи-то глаза ошалело уставились на мою ночную сорочку и боевые доспехи.

Я выронил колокол и, в смущении соскочив со стула, сказал:

— Ничего особенного не творится — так только, немножко беспокоимся из-за грозы. Я тут пробовал отвести молнию.

— Гроза? Молния? Да что вы, Мак-Вильямс, рехнулись, что ли? Прекрасная звездная ночь, никакой грозы нет.

Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова. Потом сказал:

— Ничего не понимаю... Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и слышали гром.

Один за другим эти люди валились на землю, чтобы отхохотаться; двое умерли; один из оставшихся в живых заметил:

— Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы! То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, — вспышки выстрелов. Видите ли, по телеграфу получено сообщение, как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем дело!

— ...Да, мистер Твен, как я уже говорил вам, — сказал мистер Мак-Вильямс, — правила предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я просто понять не могу, как это все-таки люди ухитряются попасть под удар.

Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его станции.

ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА[1]

I

Следующую любопытную историю я услышал от одного случайного попутчика в поезде. Добродушная, кроткая физиономия и вдумчивая простая речь этого джентль-

[1] Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло подозрение, что некоторые подробности в рассказе преувеличены, а другие не верны. Я не успел доказать необоснованность этих обвинений, и книгу сдали в печать. — *М. Т.*

мена, которому было за семьдесят, налагали печать непререкаемой истины на каждое слово, исходившее из его уст. Вот что он рассказал мне:

— Вам, наверное, известно, как почитают в Сиаме королевского белого слона. Вы знаете также, что владеть им может только король — это его священная собственность — и что в известной степени белый слон стоит выше короля, ибо мало того, что ему воздаются всяческие почести, — пред ним благоговеют. Так вот, пять лет тому назад между Великобританией и Сиамом возникли недоразумения по поводу пограничной линии, и, как сразу же выяснилось, Сиам был не прав. Англия немедленно получила следуемое ей удовлетворение, и ее представитель в Сиаме заявил, что, будучи вполне доволен исходом переговоров, он рекомендует предать недавние события забвению. Сиамский король облегченно вздохнул и, отчасти в знак признательности, а отчасти, может быть, для того, чтобы в Англии не осталось и тени недовольства им, решил преподнести королеве подарок, — ведь на Востоке не знают более верного способа умилостивить врага. Подарку надлежало быть поистине царским. А какое подношение более всего могло соответствовать этому требованию, как не белый слон? Я занимал тогда видный пост на гражданской службе в Индии и был сочтен наиболее достойным чести доставить этот дар ее величеству. Для меня самого и для моих слуг, для военной охраны и целого штата, приставленного к белому слону, снарядили корабль, и, прибыв в положенное время в Нью-йоркскую гавань, я водворил своего подопечного вельможу в прекрасное помещение в Джерси-Сити. Эта остановка была необходи-

ма, ибо, прежде чем пускаться в дальнейший путь, слона следовало подлечить.

Первые две недели все шло прекрасно, а потом начались мои бедствия. Белого слона похитили! Глубокой ночью мне позвонили по телефону и сообщили об этом страшном событии. Несколько минут я был вне себя от волнения и ужаса, я чувствовал полную свою беспомощность; потом немного успокоился и собрался с мыслями. Мне стало ясно, что надо предпринять, и каждый разумный человек сделал бы на моем месте то же самое. Несмотря на поздний час, я немедленно выехал в Нью-Йорк и, обратившись к первому попавшемуся полисмену, попросил его проводить меня в главное управление сыскной полиции. К счастью, я поспел туда вовремя: начальник полиции, знаменитый инспектор Блант, уже собирался уходить домой. Инспектор оказался человеком среднего роста и плотного сложения; когда ему случалось задумываться над чем-нибудь, он хмурил брови и глубокомысленно постукивал себя указательным пальцем по лбу, и эта его привычка сразу же вселяла в вас уверенность, что вы имеете дело с незаурядной личностью. Только взглянув на него, я немедленно почувствовал к нему доверие и загорелся надеждой. Я изложил инспектору суть дела. Мои слова ни в коей мере не поколебали его железной выдержки — они произвели на него примерно такое же впечатление, как если бы я сообщил ему о пропаже собачки. Он знаком предложил мне сесть и сказал:

— Разрешите минутку подумать.

С этими словами инспектор сел за свой письменный

стол и склонил голову на руки. В другом конце комнаты работали клерки; следующие шесть-семь минут я не слышал ничего, кроме скрипа их перьев. Инспектор сидел погруженный в глубокие думы. Наконец он поднял голову, и твердое, решительное выражение его лица сразу же показало мне, что мозг этого человека поработал не зря и что план действий уже составлен. Он начал негромким, но внушительным голосом:

— Да, это не совсем обычный случай. Надо действовать осмотрительно, надо быть уверенным в каждом своем шаге, прежде чем решаться на следующий. И тайна — глубочайшая, абсолютная тайна! Никому не рассказывайте о случившемся, даже репортерам. Предоставьте их мне. Они узнают только то, о чем я сочту нужным сообщить. — Он позвонил; появился молодой человек. — Элрик, пусть репортеры подождут. (Молодой человек удалился.) А теперь приступим к делу, и приступим методически. В нашем ремесле все построено на точности и скрупулезности метода.

Он взял перо и лист бумаги.

— Ну-с, так. Имя слона?

— Гассан-Бен-Али-Бен-Селим-Абдалла-Магомет-Моисей-Алхамалл-Джемсетджеджибой-Дулип, султан Эбу-Будпур.

— Прекрасно. Уменьшительное?

— Джумбо.

— Прекрасно. Место рождения?

— Столица Сиама.

— Родители живы?

— Нет, умерли.

— Другие отпрыски имеются?

— Нет, он был единственным ребенком.

— Прекрасно. По этим пунктам сведений достаточно. Теперь будьте добры описать внешность слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначительной, то есть незначительной с вашей точки зрения. Для человека моей профессии незначительных подробностей не существует.

Я исполнил просьбу инспектора; он записал все с моих слов. Когда я кончил, он сказал:

— Теперь слушайте. Если тут допущена малейшая неточность, поправьте меня. — И прочел следующее: — «Рост — девятнадцать футов; длина от темени до основания хвоста — двадцать шесть футов; длина хобота — шестнадцать футов; длина хвоста — шесть футов; общая длина, включая хобот и хвост, — сорок восемь футов; длина бивней — девять с половиной футов; уши — в соответствии с общими размерами; отпечаток ноги похож на след от бочонка, если его поставить стоймя в снег; цвет слона — грязно-белый; в каждом ухе — дырка для украшений размером с блюдце; слон обладает привычкой поливать зрителей водой, а также колотить хоботом не только знакомых, но и незнакомых; слегка прихрамывает на правую заднюю ногу; с левой стороны под мышкой у него небольшой рубец — след зажившего нарыва; в момент похищения на спине у слона была башня с сидячими местами на пятнадцать персон и чепрак из золотой парчи величиной с ковер средних размеров».

Никаких неточностей я не обнаружил. Инспектор позвонил, отдал это описание Элрику и сказал:

— Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземпляров и разослать во все имеющиеся в стране сыскные отделения и ссудные кассы.

Элрик удалился.

— Ну-с, так. Пока все идет прекрасно. Теперь мне нужен фотографический снимок вашей движимости.

Я дал ему фотографию. Он посмотрел на нее критическим оком и сказал:

— Если лучшей нет, сойдет и эта. Только тут он подогнул хобот и забрал его в рот. Очень жаль! Это рассчитано на то, чтобы сбить с толку. Ведь вряд ли ваш слон всегда держит хобот в таком положении. — Он позвонил. — Элрик, размножить этот снимок в пятидесяти тысячах экземплярах и разослать завтра с утра вместе с описанием примет.

Элрик удалился выполнять приказ. Инспектор сказал:

— Теперь, как водится, надо назначить вознаграждение. Ну-с, назовите сумму.

— А сколько вы посоветуете?

— Я бы начал... ну, скажем, с двадцати пяти тысяч долларов. Дело крайне трудное и запутанное. Воры найдут множество способов скрыться и спрятать покражу. У них повсюду есть соучастники и подручные.

— Боже милостивый! Так вы их знаете?

Настороженное выражение лица этого человека, привыкшего таить свои мысли и чувства, ничего не сказало мне, равно как и его спокойный ответ:

— Это не важно. Может быть, знаю, а может быть, и нет. Наши подозрения обычно строятся на данных о манере работы грабителя и о размерах его поживы. Можно

твердо сказать, что на сей раз мы имеем дело не с карманником и вообще не с мелким воришкой. Тут орудовал не новичок. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное и учитывая предстоящие большие разъезды и тщательность, с которой воры будут заметать свои следы, двадцати пяти тысяч, пожалуй, окажется маловато. Впрочем, думаю, что для начала хватит.

Итак, мы решили начать с двадцати пяти тысяч. Потом этот человек, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь, если она хоть в какой-то мере могла служить ключом к разгадке преступления, сказал:

— История сыска знает немало таких случаев, когда преступника изобличал его же собственный аппетит. Теперь расскажите мне, что ваш слон ест и в каком количестве.

— Ну, если говорить о том, что он ест, так он ест решительно все. Он способен сожрать человека, сожрать библию. Одним словом, он ест все, начиная с человека и кончая библией.

— Хорошо, превосходно. Но это слишком общее указание. Мне нужны подробности — в нашем ремесле больше всего ценятся подробности. Вы говорите, он любит человечину; так вот, сколько человек он может съесть за один присест или, если угодно, за один день? Я имею в виду — в свежем виде.

— А ему все равно, в каком они будут виде — в свежем или несвежем. За один присест он может съесть пять человек среднего роста.

— Прекрасно! Пять человек — так и запишем. Какие национальности ему больше по вкусу?

— Любые, он непривередливый. Предпочитает знакомых, но не брезгует и посторонними людьми.

— Прекрасно! Теперь перейдем к библиям. Сколько библий он может съесть за один присест?

— Весь тираж целиком.

— Это слишком неопределенно. Какое издание вы имеете в виду — обычное, in octavo, или иллюстрированное, для семейного чтения.

— По-моему, он равнодушен к иллюстрациям, то есть ему все равно что картинка, что текст.

— Нет, вы меня не так поняли. Я интересуюсь размерами. Обычное издание, in octavo, весит около двух с половиной фунтов, а большое, in quarto, с иллюстрациями — от десяти до двенадцати. Сколько библий с иллюстрациями Дорэ он съедает за один присест?

— Если бы вы знали этого слона лично, вам бы не пришло в голову об этом спрашивать. Ему только дай — он все сожрет.

— Тогда переведем на доллары и центы. Этот вопрос надо уточнить. Библия с иллюстрациями Дорэ, в сафьяновом переплете и с серебряными наугольниками, стоит около ста долларов.

— Таких он съест тысяч на пятьдесят, то есть тираж в пятьсот экземпляров.

— Ну вот, это уже более или менее определенно. Сейчас запишем. Прекрасно! Любит человечину и библии. Так. Что он еще ест? Я должен знать все до последней мелочи.

— Наевшись библий, он перейдет к кирпичам; наевшись кирпичей, он перейдет к бутылкам; наевшись буты-

лок, перейдет к тряпкам; наевшись тряпок, перейдет к кошкам; наевшись кошек, перейдет к устрицам; наевшись устриц, перейдет к ветчине; наевшись ветчины, перейдет к сахару; наевшись сахара, перейдет к пирогам; наевшись пирогов, перейдет к картошке; наевшись картошки, перейдет к отрубям; наевшись отрубей, перейдет к сену; наевшись сена, перейдет к овсу; наевшись овса, перейдет к рису — рисом его выкармливали с детских лет. Точнее говоря, нет такой вещи в мире, которую он бы не отведал, за исключением сливочного масла, по той причине, что его в Сиаме не производят.

— Прекрасно. Общее количество потребляемого за один присест — приблизительно?..

— От двух с половиной центнеров до полутонны.

— А пьет он?

— Любое жидкое тело: молоко, воду, виски, патоку, касторку, скипидар, карболовую кислоту. Дальнейшее уточнение, по-моему, излишне. Можете внести в список любую жидкость, какая вам придет в голову. Он пьет все, что подходит под это определение, кроме европейского кофе, которого в Сиаме нет.

— Прекрасно! В количестве?..

— Пишите: от пяти до пятнадцати бочек — в зависимости от степени жажды. Что касается аппетита, то он неизменен.

— Случай действительно не совсем обычный. Тем легче будет выследить вашего слона.

Он позвонил.

— Элрик, вызовите ко мне капитана Бэрнса.

Вскоре появился Бэрнс.

Инспектор Блант изложил ему дело во всех подробностях. Потом сказал голосом ясным и твердым, как и подобает человеку, который пришел к определенному решению и который привык распоряжаться:

— Капитан Бэрнс, командируйте сыщиков Джонса, Дэвиса, Хэлси, Бэйтса и Хеккета на розыски слона.

— Слушаю, сэр.

— Командируйте сыщиков Мозеса, Дэкина, Мэрфи, Роджерса, Таппера, Хиггинса и Бартоломью на розыски воров.

— Слушаю, сэр.

— В то помещение, откуда слон был похищен, поставьте сильную охрану из тридцати самых надежных агентов и выделите им на смену еще тридцать человек. Пусть несут караул день и ночь; без моего письменного разрешения никого туда не пускать, кроме репортеров.

— Слушаю, сэр.

— Вышлите сыщиков в штатском на все железнодорожные и речные вокзалы, паромы и шоссейные дороги, идущие от Джерси-Сити. Всех подозрительных подвергать обыску.

— Слушаю, сэр.

— Раздайте сыщикам фотографии с подробным описанием слона и распорядитесь, чтобы они производили обыск в каждом поезде, на каждом пароме и на всех судах.

— Слушаю, сэр.

— Если слон будет обнаружен, пусть схватят его и дадут мне знать об этом телеграммой.

— Слушаю, сэр.

— Если кто-нибудь из них обнаружит ключ к разгадке

преступления — следы животного или что-нибудь в этом роде, — пусть известит меня немедленно.

— Слушаю, сэр.

— Распорядитесь, чтобы отряды полиции патрулировали все набережные.

— Слушаю, сэр.

— Разошлите сыщиков в штатском по всем железнодорожным линиям: к северу — .до Канады, к западу — до Огайо, к югу — до Вашингтона.

— Слушаю, сэр.

— Посадите наших агентов во все телеграфные конторы, пусть перлюстрируют каждую телеграмму и требуют расшифровки всех шифрованных депеш.

— Слушаю, сэр.

— Все эти мероприятия должны производиться в тайне; подчеркиваю — в строжайшей тайне.

— Слушаю, сэр.

— С рапортом являйтесь прямо ко мне в обычное время.

— Слушаю, сэр.

— Ступайте!

— Слушаю, сэр.

Он вышел.

Минуту инспектор Блант задумчиво молчал, и огонь, горевший в его глазах, потускнел и погас. Потом он повернулся ко мне и сказал спокойным, ровным голосом:

— Хвалиться я не люблю, это не в моих привычках, но слона мы найдем.

Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его, поблагодарил от всего сердца. Чем дальше, тем все больше и боль-

ше нравился мне этот человек и тем сильнее я дивился тайнам и чудесам его профессии. Расставшись с ним, я отправился к себе в гостиницу, и сердце у меня билось гораздо спокойнее, чем в те минуты, когда я шел в сыскное отделение.

II

На следующее утро все газеты были полны подробнейших описаний моего дела. Не было недостатка и в некоторых дополнительных материалах, а именно в изложении «версий» сыщиков, имярек, касательно того, при каких обстоятельствах произошла кража, кто были воры и куда они скрылись со своей добычей. Таких версий насчитывалось одиннадцать, и они предусматривали все возможные варианты похищения, что свидетельствовало о выдающейся оригинальности мышления сыщиков. Среди всех этих версий нельзя было найти даже двух схожих между собой; их объединяла лишь одна любопытная деталь, относительно которой все одиннадцать сыщиков придерживались одного мнения: они утверждали, что хотя задняя стена сарая была проломлена, а единственная его дверь так и осталась на запоре, все же слона вывели из сарая не через пролом, а через какое-то другое (не обнаруженное) отверстие. Воры проломили стену для того, чтобы направить сыщиков по ложному следу. Мне и другим непосвященным эта мысль никогда не пришла бы в голову, но сыщики не дали провести себя. Таким образом, в единственном пункте, который, на мой взгляд, был ясен и прост, я больше всего отклонялся от истины. Авторы

одиннадцати версий называли предполагаемых воров, но среди названных имен не было и двух одинаковых; общее количество лиц, взятых на подозрение, равнялось тридцати семи. Газетные отчеты заканчивались суждением, самым веским из всех предыдущих. Оно принадлежало старшему инспектору Бланту. Привожу выдержку:

«Старший инспектор знает, что главарями этой шайки были Молодчик Даффи и Рыжий Мак-Фадден. О готовящемся покушении ему стало известно за десять дней, и он начал слежку за этими двумя известными преступниками.

К сожалению, в последующую ночь следы их были утеряны, и птичка, то есть слон, упорхнула.

Даффи и Мак-Фадден славятся своей дерзостью. У инспектора есть все основания предполагать, что год назад именно они похитили в холодную зимнюю ночь печку из сыскного управления, вследствие чего и сам инспектор и все сыщики очутились к утру в приемном покое, кто с обмороженными руками, кто с обмороженными ногами, ушами, пальцами и тому подобное».

Прочтя первую половину сообщения инспектора Бланта, я еще сильнее, чем прежде, был поражен непостижимой мудростью этого загадочного человека. Он не только ясно читал в настоящем, но и проникал взглядом в будущее. Я немедленно отправился к нему в кабинет и сказал, что, по-моему, следовало бы арестовать этих людей заранее, не дожидаясь, когда они причинят столько хлопот и убытков. Но ответ инспектора был настолько прост, что я ничего не мог возразить ему:

— В наши обязанности не входит предупреждать преступление, мы наказываем за содеянное. Ты сначала соверши, а тогда мы тебя за руку схватим.

Я высказал далее сожаление, что тайна, которой мы с самого же начала окружили свои действия, сведена на нет газетами: они предали гласности не только факты, но и все наши планы и намерения и даже назвали по именам всех заподозренных лиц, которые теперь, без сомнения, примут меры, чтоб остаться неузнанными, или же постараются скрыться.

— Пусть! Когда ударит час, моя рука, как рука самой судьбы, настигнет их, где бы они ни прятались. Скоро им придется убедиться в этом. Что касается газет, то мы должны поддерживать с ними связь. Известность, слава, постоянное упоминание наших имен в печати — хлеб насущный для нас, сыщиков. Мы должны давать прессе фактический материал, иначе подумают, что у нас его нет; мы должны публиковать свои версии преступления, ибо на свете нет ничего более поразительного, чем домыслы сыщика, — ничто другое не вызывает к нему такого интереса и уважения. Мы должны сообщать в прессу о своих планах, ибо газеты настаивают на этом, а отказать — значит, обидеть. Читающая публика должна знать, что мы действуем, иначе у нее создастся впечатление, что мы сидим сложа руки. Гораздо приятнее прочесть в газете: «Остроумная и неожиданная версия, выдвинутая инспектором Блантом, заключается в следующем», — чем давать повод для неприятных или, что еще хуже, саркастических замечаний по нашему адресу.

— Ваши доводы вполне убедительны. Но, читая сегодняшние газеты, я заметил, что по одному, правда второстепенному, пункту вы отказались высказаться.

— Да, мы всегда так делаем. Это производит хорошее впечатление. Кроме того, я еще не составил мнения по этому пункту.

Я вручил инспектору солидную сумму денег на текущие расходы и стал ждать сообщений о розысках. По нашим расчетам, первые телеграммы должны были поступить с минуты на минуту. Чтобы не терять даром времени, я снова перечитал газеты, а также описание слона и на этот раз заметил, что вознаграждение в двадцать пять тысяч долларов предлагалось только сыщикам. Я сказал инспектору, что награду следовало бы предложить любому, кто найдет слона. Инспектор ответил:

— Слона найдут сыщики, поэтому вознаграждение достанется тому, кому следует. Если же ваше животное обнаружат посторонние, значит, они подглядывали за нашими агентами и воспользовались имевшимися у них в руках путеводными нитями и уликами, а это опять-таки дает право на получение денег только сыщикам. Система наград существует для поощрения наших работников, которые отдают делу сыска все свое время и все свои знания, а не для того, чтобы одарять не по трудам и не по заслугам случайных лиц.

Его рассуждения показались мне довольно разумными. В эту минуту застучал телеграфный аппарат, стоявший в углу кабинета, и мы прочли следующую телеграмму:

«Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 7 ч. 30 м.

Напал на след. Обнаружил глубокие отпечатки ног на дворе фермы. Шел но ним две мили к востоку. Без-

результатно. Думаю, слон повернул к западу. Буду выслеживать его в этом направлении.

Сыщик Дарли».

— Дарли — один из наших лучших агентов, — сказал инспектор. — Подождите, скоро он опять даст о себе знать.

Пришла телеграмма № 2:

«*Баркер, штат Нью-Джерси, 7 ч. 40 м.*

Только что прибыл. Ночью разграблен стеклянный завод, похищено восемьсот бутылок. Единственный большой водный резервуар находится в пяти милях от поселка. Направляюсь туда. Слону захочется пить.

Бутылки были пустые.

Сыщик Бейкер».

— Многообещающее начало! — сказал инспектор. — Я же вам говорил, что аппетиты вашего слона дадут нам кое-какой материал в руки.

Телеграмма № 3:

«*Тэйлорвилл, Лонг-Айленд, 8 ч. 15 м.*

За ночь исчез стог сена. Возможно, съеден. Напал на след, действую.

Сыщик Хабард».

— Какой он прыткий, ваш слон! — сказал инспектор. — Я знал, что нам предстоит нелегкая работа, но мы его все-таки поймаем!

«*Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 9 ч.*

Прошел к западу три мили. Следы большие, глубокие, неровные по краям. Встретил фермера; утверждает, что

это не слон. Говорит, что ямы остались с прошлой зимы, когда он выкапывал в мерзлом грунте молодые деревца. Жду дальнейших распоряжений.

Сыщик Дарли».

— Ага! Соучастник грабителей! Становится жарко, — сказал инспектор.

Он продиктовал следующую телеграмму на имя Дарли:

«Арестуйте фермера, заставьте его выдать сообщников.

Продолжайте идти по следам, если понадобится, до Тихого океана.

Старший инспектор Блант».

Следующая телеграмма:

«*Кони-Пойнт, штат Пенсильвания, 8 ч. 45 м.*

Ночью ограблена контора газового завода, похищены неоплаченные счета за три месяца. Напал на след, иду дальше.

Сыщик Мэрфи».

— Силы небесные! — воскликнул инспектор. — Неужели он станет есть счета за газ?

— Только по неосведомленности. Они совершенно непитательны.

Вслед за этим пришла еще одна ошеломляющая телеграмма:

«*Айронвилл, штат Нью-Йорк, 9 ч. 30 м.*

Только что прибыл. В поселке паника. В пять часов

утра здесь появился слон. Одни утверждают, что он отправился дальше к востоку, другие — что к западу, третьи — к северу, четвертые — к югу. Установить точное направление не удалось, не было времени. Слон убил лошадь. Кусок лошади представлю в качестве вещественного доказательства. Животное убито при помощи хобота; судя по результатам, удар был нанесен слева направо. По положению трупа полагаю, что слон пошел дальше к северу, на Беркли, вдоль полотна железной дороги. У него четыре с половиной часа форы. Отправляюсь по следам немедленно.

Сыщик Хоуз».

Я радостно вскрикнул. Инспектор сидел невозмутимый, как идол. Он спокойно дотронулся до звонка.

— Элрик, вызовите капитана Бэрнса.

Бэрнс явился.

— Сколько у вас человек наготове?

— Девяносто шесть, сэр.

— Немедленно пошлите их к Айронвиллу. Пусть станут вдоль железнодорожной линии на Беркли. К северу от города.

— Слушаю, сэр.

— Внушите им, что их передвижение должно сохраняться в строжайшей тайне. Освободившихся от дежурств не отпускайте, пусть ждут распоряжений.

— Слушаю, сэр.

— Можете идти.

— Слушаю, сэр.

Поступила еще одна телеграмма:

«Сейдж-Корнерс, штат Нью-Йорк, 10 ч. 30 м.

Только что прибыл. Слон появился здесь в 8.15. Всем удалось покинуть город, кроме постового полисмена. Слон, по-видимому, метил не в него, а в фонарный столб. Погибли оба. Кусок полисмена представлю в качестве вещественного доказательства.

Сыщик Стамм».

— Итак, слон повернул в западном направлении, — сказал инспектор. — Но ускользнуть ему не удастся: мои агенты расставлены в этом районе повсюду.

Следующая телеграмма гласила:

«Гловер, 11 ч. 15 м.

Только что прибыл. Поселок обезлюдел. Остались одни больные и старики. Слон появился здесь три четверти часа назад, как раз во время заседания Лиги противников трезвости. Просунул хобот в окно и залил помещение водой, набранной в цистерне. Некоторые наглотались — исход смертельный; есть утонувшие. Сыщики Кроз и О'Шонесси проследовали через поселок в южном направлении, почему и разминулись со слоном. Весь район на много миль в окружности повергнут в панику, люди покидают дома. Но слон настигает их всюду. Много убитых.

Сыщик Брент».

Я готов был зарыдать, так меня расстроили эти бедствия. Но инспектор ограничился следующими словами:

— Вот видите, мы его окружаем. Он это почувствовал и опять свернул на восток.

Однако это грустное сообщение было не последним. Скоро телеграф принес следующую весть:

«Хогенспорт, 12 ч. 19 м.

Только что прибыл. Слон прошел здесь полчаса назад, сея повсеместно ужас и смятение. Свирепствовал на улицах; из двух попавшихся ему водопроводчиков один убит, другой спасся. Всеобщее сожаление.

Сыщик О'Флаэрти».

— Его окружили со всех сторон, — сказал инспектор. — Теперь ему ничто не поможет.

Вслед за этим поступили телеграммы от сыщиков, которые, рассыпавшись по штатам Нью-Джерси и Пенсильвания, полные надежды и даже уверенности в успехе, рыскали по следам слона — то есть обследовали разрушенные сараи, фабрики и библиотеки воскресных школ. Прочитав эти телеграммы, инспектор сказал:

— Самое лучшее было бы снестись с ними и послать их дальше, но это невозможно. Сыщик заходит на телеграф только для того, чтобы отправить свое донесение, а потом его не доищешься.

Мы прочли еще одну телеграмму:

«Бриджпорт, штат Коннектикут, 12 ч. 15 м.

Барнум предлагает 4000 долларов в год за право использования слона в качестве подвижной рекламы до тех пор, пока он не будет изловлен сыщиками. Намерен оклеить его цирковыми афишами. Просит ответить без промедления.

Сыщик Богз».

— Какая нелепость! — воскликнул я.

— Вы совершенно правы, — сказал инспектор. — По-видимому, этот мистер Барнум считает себя большим хитрецом, но он плохо знает меня. Зато я его хорошо знаю.

И он продиктовал ответ на эту телеграмму:

«Барнуму отказать. 7000 — или ничего.

Старший инспектор Блант».

— Вот так. Ответа долго ждать не придется. Мистер Барнум сидит сейчас не у себя дома, а на телеграфе. Это его обычная манера, когда предвидится какое-нибудь выгодное дельце. Ровно через три...

«Согласен. *П. Т. Барнум*».

Таким известием прервал нашу беседу телеграфный аппарат. Я только собирался высказать свое мнение по поводу этого странного эпизода, как следующая телеграмма направила мои мысли по совершенно новому и весьма грустному пути.

«Боливия, штат Нью-Йорк, 12 ч. 50 м.

Слон появился здесь с южной стороны в 11 ч. 50 м., проследовал к лесу, разогнав попавшуюся навстречу похоронную процессию и уменьшив количество провожавших на две персоны. Местные жители дали по нему несколько залпов из мелкокалиберной пушки и ударились в бегство. Сыщик Берк и нижеподписавшийся прибыли сюда с северной стороны с опозданием на десять минут и, приняв глубокие ямы в земле за отпечатки ног животно-

го, потеряли много драгоценного времени. Однако нам удалось напасть на его следы, которые вели к лесу. Мы стали на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, чтобы не потерять следа, добрались до кустов. Берк полз первым. К несчастью, животное остановилось в кустах на отдых, и Берк, поглощенный рассматриванием следов, ткнулся головой прямо в задние ноги слона, не подозревая, что тот находится так близко. Впрочем, он сейчас же вскочил, ухватил животное за хвост и воскликнул ликующим голосом: «Вознаграждение за мн...» Но кончить ему не удалось, ибо слону было достаточно одного удара хоботом, чтобы отправить храбреца на тот свет. Я побежал назад, но слон повернулся и с невероятной быстротой погнал меня к опушке леса. Моя гибель была неизбежна, но, к счастью, на дороге опять появились остатки разогнанной похоронной процессии, которые и отвлекли его внимание. Только что узнал, что от покойника ничего не осталось. Потеря небольшая, ибо сейчас этого добра здесь более чем достаточно. Слон снова исчез.

Сыщик Малруни».

Некоторое время мы не получали никаких новых известий, если не считать донесений усердных и обстоятельных сыщиков, действовавших в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Виргинии и то и дело натыкавшихся на свежие и бесспорные следы. А потом, в начале третьего часа, поступила следующая телеграмма:

«*Бакстер-Сентр, 2 ч. 15 м.*

Слон появился здесь, оклеенный цирковыми афишами, и, прорвавшись на молитвенное собрание, покалечил

многих верующих, готовившихся приобщиться благодати. Граждане загнали его в загон и выставили стражу. Приехав вскоре после этого, мы с сыщиком Брауном прошли за ограду и приступили к опознанию слона, пользуясь фотографическими снимками и описанием его примет. Все совпало в точности, если не считать рубца под мышкой, которого нам так и не удалось обнаружить. Сыщик Браун подлез под слона, желая проверить наличие рубца, и немедленно остался без головы — черепок вдребезги, мозги не обнаружены. Все бросились наутек, в том числе и слон, раздававший меткие удары направо и налево. Ему удалось скрыться, но кровь, льющаяся из ран, полученных им в результате попаданий пушечных ядер, указывает его путь. Обнаружим в ближайшее время. Он ушел к югу, продираясь сквозь густую лесную чащу.

Сыщик Брант».

Эта телеграмма была последней. А к ночи на землю спустился такой туман, что на расстоянии трех футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туман продержался всю ночь. Движение паромов и даже омнибусов было приостановлено.

III

На следующее утро газеты опять были полны версий различных знатоков сыска. Уже известные нам трагические факты излагались со всеми подробностями, а кроме того, приводилось и много других сведений, полученных по телеграфу от специальных корреспондентов. Броские

заголовки занимали примерно треть каждой колонки, и когда я читал их, у меня холодела кровь. Общий тон был таков:

«БЕЛЫЙ СЛОН НА СВОБОДЕ. ОН СОВЕРШАЕТ СВОЙ ГУБИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ, ПОСЕЛКИ ОБЕЗЛЮДЕЛИ. НАСЕЛЕНИЕ В УЖАСЕ ПОКИДАЕТ ДОМА! ЛЕДЯНОЙ СТРАХ ПРЕДШЕСТВУЕТ ЕМУ! СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ! СЫЩИКИ В АРЬЕРГАРДЕ. РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА. РУИНЫ ФАБРИК. ЗАГУБЛЕННЫЙ УРОЖАЙ, РАЗОГНАННЫЕ ЛЮДСКИЕ ТОЛПЫ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЮ КРОВАВЫЕ СЦЕНЫ! ЧТО ДУМАЮТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЯ СЫСКА! ЧТО ДУМАЕТ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР БЛАНТ!»

— Вот видите! — торжествующе сказал инспектор Блант, изменяя своему обычному спокойствию. — Блестяще! Такой удачей не может похвалиться никакое другое агентство в мире. Слава о нас разойдется по всем уголкам земного шара, выдержит любое испытание временем, и мое имя пребудет в веках!

Но я не мог радоваться вместе с ним. Мне казалось, что кровавые преступления слона ложатся на мою совесть, что он только слепое орудие во всех этих злодеяниях. А как вырос их список! В одном городке он «нарушил ход выборов и уложил на месте пятерых подставных избирателей». Вслед за этим «смерть настигла еще двух несчастных, по фамилии О'Данахью и Мак-Фланиган, которые только накануне обрели пристанище в тихой гавани угнетенных всего мира и были повержены беспощадной дланью сиамского чудовища как раз в ту минуту, когда они, впервые воспользовавшись благородным правом американских граждан, подходили к избирательным урнам». В другом месте «он встретил ис-

ступленного проповедника, готовившегося к своим очередным нападкам на танцы, театр и другие развлечения, которые можно хулить, не опасаясь пощечин с их стороны, и наступил на него». Еще где-то «он убил агента по распространению громоотводов». Таков был список его преступлений, который с каждым часом становился все более кровавым и разрывал мне сердце. Шестьдесят человек убитых, двести сорок раненых! Все сообщения свидетельствовали о неутомимой энергии сыщиков и беззаветной преданности их своему делу, и все они заканчивались так: «Этого страшного зверя видели собственными глазами триста тысяч граждан и четыре сыщика, из которых двое убиты».

Я с ужасом ждал, не застучит ли снова телеграфный аппарат. И действительно, вскоре начали поступать новые сообщения, но я был приятно разочарован ими. Мало-помалу выяснилось, что слон исчез бесследно. Воспользовавшись туманом, он, по-видимому, скрылся от преследования и нашел себе надежное пристанище. В телеграммах, поступавших из самых неожиданных и отдаленных пунктов, говорилось, что там-то и там-то, в таком-то часу видели сквозь густой туман огромную махину, и это, «вне всякого сомнения, был слон». Эта огромная, еле различимая сквозь туман махина появлялась в Нью-Хейвене, в Нью-Джерси, в Пенсильвании, в штате Нью-Йорк и даже в самом Нью-Йорке, в Бруклине — и быстро исчезала, не оставляя после себя никаких следов. Сыщики, откомандированные во все концы страны, ежечасно присылали отчеты, и у каждого из них имелась своя путеводная нить к разгадке преступления, и у каж-

дого дело было на мази, и каждый был близок к поимке слона.

Но этот день не принес ничего нового.

Следующий тоже.

Прошел и третий день.

Газетные отчеты становились бледными. Сообщаемые ими факты ничего не давали, путеводные нити никуда не приводили, а очередные версии преступления уже были лишены тех элементов новизны, которые поражают, восхищают и ошеломляют читающую публику.

По совету инспектора, я увеличил обещанное вознаграждение вдвое.

Прошло еще четыре томительных дня. И вдруг бедные самоотверженные сыщики получили тяжелый удар: редакторы газет отказались печатать их материалы и холодно заявили: «Дайте передохнуть».

Через две недели после пропажи слона я, по совету инспектора, увеличил вознаграждение до семидесяти пяти тысяч долларов. Это была очень большая сумма, но я предпочитал пожертвовать всем своим состоянием, чем потерять доверие правительства. Теперь, когда сыщики очутились в таком незавидном положении, газеты ополчились на них и принялись осыпать несчастных ядовитейшими насмешками. Это подхватили бродячие театрики, и актеры, одетые сыщиками, вытворяли бог знает что, носясь по сцене в поисках слона. На карикатурах сыщики обшаривали поля и леса, вооружившись подзорными трубами, а слон преспокойно воровал у них яблоки из карманов. А как издевались карикатуристы над полицейским значком! Вам, вероятно, приходилось

видеть этот значок, исполненный золотым тиснением на обложках детективных романов. На нем изображен глаз, под которым стоит подпись: «Недреманное око». Если сыщику случалось зайти в бар, то хозяин бара, якобы в виде милой шутки, задавал ему вопрос, в свое время ходкий среди завсегдатаев таких мест: «Что прикажете подать, чтобы око продрать?» Сыщикам буквально не давали прохода подобными насмешками.

И только один человек продолжал хранить в такой обстановке спокойствие, невозмутимость и выдержку: это был непоколебимый инспектор Блант. Он ни перед кем не опускал глаз, его безмятежная уверенность в себе оставалась неизменной. Он повторял:

— Пусть беснуются. Смеется тот, кто смеется последним!

Мое восхищение этим человеком граничило с каким-то благоговейным чувством. Я не отходил от него ни на шаг. Пребывание в его кабинете стало угнетать меня и становилось тягостнее день ото дня. Но я считал, что если он выносит все это, то мне тоже не следует сдаваться, во всяком случае, до тех пор, пока не иссякнут силы. И я приходил туда ежедневно и был единственным посторонним человеком, которого хватало на такой подвиг. Все удивлялись мне, и я сам частенько подумывал, не удрать ли отсюда, но одного взгляда на это спокойное и, по-видимому, не омраченное тяжелой думой чело было достаточно, чтобы снова набраться стойкости.

Однажды утром, недели через три после пропажи слона, когда я уже собирался сказать, что мне придется покинуть свой пост и удалиться восвояси, великий сыщик,

словно прочитав мою мысль, предложил еще один блистательный, мастерский ход.

В нем предусматривалось соглашение с преступниками. Изобретательность этого человека превзошла все, что я знал до сих пор, хотя мне и приходилось сталкиваться с самыми изощренными умами нашего века. Инспектор заявил: чтобы достигнуть соглашения с преступниками, ста тысяч долларов будет вполне достаточно, и слон найдется. Я ответил, что попытаюсь наскрести эту сумму, но как быть с несчастными сыщиками, которые трудились с такой беззаветной преданностью своему делу? Инспектор сказал:

— В таких случаях они всегда получают половину.

Мое единственное возражение было снято. Инспектор написал две записки следующего содержания:

«Сударыня!

Ваш супруг сможет заработать солидную сумму денег (с полной гарантией, что закон не посягнет на его личность), если он согласится на немедленную встречу со мной.

Старший инспектор Блант».

Одна из этих записок была отправлена с доверенным лицом особе, которая считалась женой Молодчика Даффи. Другая — особе, которая считалась женой Рыжего Мак-Фаддена.

Через час пришли два весьма оскорбительных ответа:

«Старый дурень! Молодчик Даффи два года как помер.

Бриджет Магони».

«Старый тюфяк! Рыжего Мак-Фаддена давно вздернули, он уж полтора года как в раю. Это каждому ослу известно, только не сыщикам.

Мэри О'Хулиген».

— Я давно это подозревал, — сказал инспектор. — Вот вам еще одно доказательство безошибочности моего инстинкта.

Если какой-нибудь из планов рушился, этот человек был готов немедленно заменить его другим. Он сейчас же составил объявление в утренние газеты, копия которого у меня сохранилась:

«А — ксвбл. 242. Н. Тнд. — фз 328 вмлг. ОЗПО — ; 2м! огв. Тс-с!»

— Если вор жив и здоров, — пояснил мне инспектор, он обязательно явится в условленное место встречи, где обычно заключаются все сделки между сыщиками и преступниками. Встреча должна состояться завтра, в двенадцать часов ночи.

Никаких других дел больше не предвиделось, и я, не теряя времени, с чувством громадного облегчения покинул кабинет инспектора.

Я пришел туда на следующий день в одиннадцать часов вечера, имея при себе сто тысяч долларов наличными. Они были немедленно вручены инспектору Бланту, который вскоре удалился все с той же отвагой и уверенностью во взоре. Невыносимо долгий час уже подходил к концу, когда я вдруг услышал желанные шаги и, задыхаясь, неверными шагами двинулся навстречу инспектору. Каким торжеством сияли его прекрасные глаза! Он сказал:

— Сделка состоялась! Завтра критиканы запоют другую песенку! Следуйте за мной!

Он взял зажженную свечу и спустился вниз, в огромное сводчатое подземелье, где обычно спали шестьдесят сыщиков, а сейчас человек двадцать коротали время, играя в карты. Я шел за ним по пятам. Инспектор быстро направился в дальний полутемный конец подземелья; и как раз в ту минуту, когда я, задыхаясь от невыносимой вони, уже терял сознание, он споткнулся о какую-то необъятную тушу и повалился на пол со следующими словами:

— Наша благородная профессия восстановила свою поруганную честь! Вот он, ваш слон!

Меня внесли в кабинет инспектора Бланта на руках и привели в чувство карболовой кислотой. Явились сыщики в полном составе, и тут началось такое бурное ликование, равного которому мне никогда не приходилось видеть. Вызвали репортеров, откупорили шампанское, стали провозглашать тосты, обмениваться рукопожатиями, поздравлениями. Героем дня, разумеется, считался старший инспектор, и его счастье было так полно и так честно заслужено, что даже я радовался вместе со всеми — я, который стоял там как бездомный нищий и знал, что мой драгоценный подопечный мертв, что моя репутация загублена, ибо я не сумел выполнить порученной мне высокой миссии. Не один красноречивый взор говорил о преклонении сыщиков перед своим шефом, не один голос шептал: «Посмотрите на него. Ведь это король сыска! Дайте ему путеводную нить, и от него ничто не скроется!»

Распределение пятидесяти тысяч долларов прошло с большим подъемом. Засовывая в карман свою долю, старший инспектор произнес коротенькую речь. Вот что он сказал:

— Друзья мои, вы заслужили свою награду. Больше того — благодаря вам наша профессия покрыла себя неувядаемой славой.

Как раз в эту минуту ему подали телеграмму, в которой было написано следующее:

«Монро, штат Мичиган, 22 ч.

Впервые за несколько недель попал на телеграф. Ехал по следам верхом тысячу миль сквозь густой лес. С каждым днем следы становятся все явственнее, глубже и свежее. Не беспокойтесь, еще неделя, и слон будет найден. Это наверняка.

Сыщик Дарли».

Старший инспектор предложил крикнуть троекратное «гип-гип-ура» в честь Дарли, «одного из самых блестящих наших агентов», и затем приказал вызвать его телеграммой обратно для получения причитающейся ему доли.

Так закончилась эта эпопея с похищением слона. На следующий день все газеты, за исключением одной, рассыпались в похвалах сыщикам. А тот презренный листок разразился следующей тирадой:

«Славны дела твои, о сыщик! Ты, правда, не всегда проявляешь достаточную расторопность при розыске таких мелочей, как затерявшийся слон, ты гоняешься за ним день-деньской, а ночью в течение трех недель спишь

по соседству с его разлагающейся тушей, но в конце концов ты обнаружишь пропажу, если тот человек, который затащил слона в твой дом, приведет тебя туда и ткнет в него пальцем».

Бедный Гассан был потерян для меня навеки. Ранения от пушечных ядер оказались смертельными. Он пробрался в мрачное подземелье под прикрытием тумана и там, окруженный врагами, подвергаясь постоянной опасности быть обнаруженным, угасал от голода и страданий и наконец нашел успокоение в смерти.

Сделка с преступниками обошлась мне в сто тысяч долларов, расходы по розыскам — еще в сорок две тысячи. Я не осмеливался просить у правительства какой-нибудь должности. Я стал банкротом, бездомным странником. Но мое преклонение перед этим человеком, перед величайшим сыщиком, которого когда-либо знал мир, не увядает до сего времени и пребудет во мне до конца дней моих.

МАК-ВИЛЬЯМСЫ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ ВОРОВ

Сперва разговор шел свободно и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от урожая — к изящной словесности, от сплетен — к религии. Потом, сделав легкий рывок, мы завели как-то речь о сигнализации от воров, и тут мистер Мак-Вильямс стал горячиться. Когда мистер Мак-Вильямс горячится в беседе, я умолкаю и даю

ему излить свои чувства. Вот что он мне поведал, насилу справляясь с охватившим его волнением:

— Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее ломаного гроша. И сейчас скажу — почему. Когда постройка нашего дома пришла к концу, выяснилось, что у нас осталось чуточку денег, — уже не знаю, как водопроводчики их проморгали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников, — у меня всегда была слабость к язычникам, — но миссис Мак-Вильямс сказала, что хочет поставить в доме сигнализацию от воров. Пришлось согласиться на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, а миссис Мак-Вильямс другого и мы поступаем, как хочется миссис Мак-Вильямс, — а мы всегда поступаем именно так, — это у нас называется компромиссом. Так вот, приехал специалист из Нью-Йорка, установил сигнализацию от воров, взял триста двадцать пять долларов и отбыл обратно в Нью-Йорк, заверив нас, что теперь мы можем спать совершенно спокойно. И верно, мы спали спокойно около месяца. Однажды ночью в спальне запахло дымом, и я получил приказ встать и выяснить, что случилось. Я зажег свечку, пошел к выходной лестнице и встретил там человека, который уносил корзину с нашей оловянной посудой (в темноте он принял ее за столовое серебро). Он раскуривал трубку. Я сказал:

— Друг мой, мы в комнатах не позволяем курить.

Он сказал, что впервые в доме и не знает, какие у нас здесь порядки. Он добавил, что ему приходилось бывать в домах нисколько не хуже нашего и ни разу никто не ме-

шал ему курить в комнатах. Он также сказал, что, насколько ему известно, подобные правила вообще не относятся к ворам.

Я сказал:

— Если так, курите, пожалуйста, хотя лично я сомневаюсь, что в правилах, с которыми считается даже епископ, нужно делать для воров исключение. Поступать так — значило бы подрывать нравственность в корне. Впрочем, вернемся к делу. Как вы смели забраться в дом недозволенным образом, не давши сигнала против воров?

Он заметно смутился и сказал виновато:

— Тысяча извинений! Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то непременно бы ею воспользовался. Умоляю вас, никому ни слова об этом; у меня старики родители, и, если они узнают, сколь грубо я нарушаю вековые традиции нашей христианской цивилизации, это может ужасным образом ускорить их переход из нашей земной юдоли в великие и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спичек?

Я сказал:

— Ваши сыновние чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите замечание, метафоры вам не даются. Не чиркайте о подметку, эти спички загораются только при помощи коробка, да и то много реже, чем следует. Вернемся к нашей беседе. Как вы попали сюда?

— Через окно на втором этаже.

Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, пожелал ему доброй ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмар-

шалу. Наутро мы вызвали нью-йоркского специалиста. Приехав, он разъяснил нам, что сигнальный звонок не звонил, потому что сигнализация действует только внизу. Ничего глупее я в жизни не видывал. Все равно что бросаться в бой, надев латы только лишь на ноги. Специалист протянул сигнализацию от воров на второй этаж, получил свои триста долларов и удалился.

Некоторое время спустя, обходя ночью дом, я наткнулся на третьем этаже на грабителя, который, нагрузившись нашим добром, готовился спуститься по приставной лестнице вниз. Сперва я решил пробить ему голову кием, но после, увидев, что вор занимает позицию между мной и бильярдом, счел более правильным пойти с ним на соглашение. Я выкупил у него наши вещи по указанной выше цене минус десять процентов за пользование хозяйской лестницей. Наутро мы снова послали за специалистом и за триста долларов протянули сигнализацию на третий этаж.

К этому времени наш сигнализационный указатель достиг грандиозных размеров. Это был щит на сорок семь «точек», с обозначением всех комнат и всех дымоходов. Его можно было принять за гардероб средней величины. В изголовье нашей кровати был поставлен сигнальный гонг размерами с умывальник. Из дому шел электрический провод к кучеру на конюшню, а над подушкой у кучера был повешен еще один гонг, не менее внушительный.

Теперь все было в порядке за вычетом одной мелочи: в пять утра, когда кухарка открывала дверь в кухню, гонг начинал звонить. Когда это случилось впервые, я решил,

что настал страшный суд. Не думайте только, что я пришел к этой мысли лежа в постели. При первом же звуке гонга вы вылетаете вон из постели и несетесь по дому как вихрь, пока не врежетесь в стенку. После этого вас словно скручивает и, пока кто-нибудь не захлопнет дверь в кухню и не выключит гонг, вы корчитесь, как паук, попавший на горячую вьюшку. Если хотите знать, на свете нет ничего, что хоть чуть походило бы на звон этого гонга.

То, что я описал вам, происходило в пять утра каждодневно и всякий раз повергало нас в мучительную бессонницу. Потому что сказать о гонге, что он пробуждает вас ото сна, — значит, ничего не сказать; он пробуждает и тело ваше, и душу, и угрызения совести. Можете быть спокойны, что после этого звона вы будете бодрствовать восемнадцать часов подряд, будете так бодрствовать, как не бодрствовали еще никогда в своей жизни. Как-то один человек скончался у нас на руках, и мы ушли ночевать к соседям, оставив труп дома. Быть может, вы думаете, что умерший остался покойником? Нет, сэр, ничуть не бывало. Ровно в пять он восстал из мертвых, причем самым поспешным образом. Я знал это наперед и ни капли не удивился. Он жил потом припеваючи. Получил страховую премию в бесспорном порядке, поскольку кончина его была засвидетельствована.

Мы быстрым шагом приближались к могиле — так нас истощила бессонница. Не оставалось иного выбора, как снова звать специалиста. Он приехал, вывел провод из кухни и поставил переключатель, чтобы отсоединять сигнализацию когда надобно. Но Томас, наш камердинер, всегда делал крошечную ошибку: вечером, идя спать, он

отключал сигнализацию, а утром, к приходу кухарки, *включал* ее снова, — и с первым ударом гонга мы опять проносились по дому, выдавливая стекла на своем роковом пути. К концу недели всем стало понятно, что переключатель — ловушка для простофиль. Попутно выяснилось и то, что у нас в доме обосновалась целая банда грабителей. Они поселились у нас не с тем, чтобы грабить, — дом к тому времени был почти пуст, — а чтобы скрываться от правосудия. Полиция их преследовала, и они здраво решили, что в доме, оборудованном лучшей в Соединенных Штатах сигнализацией от воров их будут искать в самую последнюю очередь.

Ничего не оставалось, как снова звать специалиста. На этот раз его осенила гениальная мысль: он так перестроил переключатель, что, открывая дверь в кухню, вы отсоединяли сигнализацию. Гениальность, понятное дело, пришлось оплатить. Что же теперь получилось? Вечером, не полагаясь на слабую память Томаса, я сам лично включал сигнализацию на ночь, но только лишь в доме гасили свет, грабители запросто заходили на кухню и отсоединяли сигнализацию, не дожидаясь прихода кухарки. Из огня мы попали в полымя. Мы теперь месяцами не приглашали никого погостить, потому что на всех кроватях дремали грабители.

В конце концов я набрел на разумную мысль. Вызванный вновь специалист отвел провод в конюшню и там же поставил переключатель. Кучер сам включал и сам выключал сигнализацию. Система работала безотказно, мы снова вкусили мир, приглашали гостей, наслаждались по-прежнему жизнью.

Но с течением времени неукротимая сигнализация от воров придумала новый выверт. В одну прекрасную зимнюю ночь нас выбросил из постели страшный удар гонга. Добредши до указателя и зажегши рожок, мы прочитали: «Детская». Миссис Мак-Вильямс тут же свалилась замертво, я сам с трудом устоял. Под ужасающий грохот гонга, сжимая в руках дробовик, я ждал, пока поднимется кучер. Я знал, что он выбежит из конюшни с ружьем, как только оденется. Я выждал, прокрался к окну и как только увидел Томаса, стоявшего с ружьем наготове, ворвался стремглав в детскую и открыл беглый огонь. Кучер выпалил вслед за мной, целясь в пламя дробовика. Оба выстрела были результативными: я искалечил няньку, кучер опалил волосы у меня на затылке. Мы зажгли свет и вызвали по телефону хирурга. Грабителей в доме не оказалось, и окна все были заперты. В одном не хватало, правда, стекла, но виною была пуля кучера. Мы снова стояли перед неразгаданной тайной: гонг бил тревогу без повода, воры не обнаружены.

Специалист прибыл по вызову и разъяснил, что происшествие было «ложной тревогой». Он сказал, что не видит особой беды, произвел капитальный ремонт всей системы, получил вознаграждение и отбыл.

Что мы вытерпели от «ложных тревог» за последующие три года — не опишет перо. Первые месяцы я мчался с дробовиком к обозначенной на указателе комнате; Томас исправно оказывал мне вооруженную поддержку извне. Всякий раз выяснялось, что стрелять было не в кого и окна все на запоре. На следующее утро мы посылали за специалистом. Он ремонтировал сигнализацию то в той,

то в другой комнате, утихомиривал ее на недельку-другую и присылал нам счет примерно такого рода:

Провод	— 2.15
Изоляторы	— 75
Два часа работы	— 1.50
Воск	— 47
Лента	— 34
Шурупы	— 15
Перезарядка батареи	— 98
Три часа работы	— 2.25
Шнур	— 02
Смазка	— 66
Пондовский экстракт	— 1.25
Пружины, по 50 центов штука	— 2.00
Железнодорожные расходы	— 7.25
Итого:	19.77

Дело пришло к естественному концу: после трехсот или четырехсот «ложных тревог» мы перестали на них обращать внимание. Сброшенный с кровати ударом гонга, я теперь не спеша подымался на ноги, не спеша отключал очередную комнату от сигнализационного провода и шел назад досыпать. Больше скажу вам, отсоединив комнату, я больше не подключал ее вовсе и даже не думал вызывать опять специалиста. Нетрудно догадаться, что раз за разом я отсоединил все комнаты в доме, и сигнализация от воров умолкла совсем.

Именно в это время, когда мы оказались совсем беззащитными, случилось самое страшное. Однажды ночью воры украли сигнализацию от воров, — да, сударь, украли полностью, начисто, не забыв ничего. Они унесли батареи, гонги, пружины, звонки, полтораста миль медного

провода, не оставили даже малейшего винтика, чтобы нам было что проклинать (я имею в виду: вспоминать с благодарностью).

Получить ее назад от воров было совсем не просто, но в конце концов я добился этого, разумеется, не задаром. Представители фирмы сказали, что советуют нам поставить сигнализацию заново, пополнив ее кое-какими деталями — а именно, патентованными пружинами в окнах против «ложных тревог» и патентованным же часовым механизмом, который автоматически включает сигнализацию вечером и сам отключает наутро. Нам это понравилось.

Пообещав закончить проводку за десять дней, монтеры приступили к работе, а мы удалились на летний отдых. Проработав два или три дня, и они удалились на отдых. Тогда в дом въехали воры и приступили к своему летнему отдыху. Когда к осени мы вернулись, дом был пуст, как холодильный шкаф с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры. Мы заново обставили дом и спешно послали в Нью-Йорк за специалистом. Он приехал, закончил проводку сигнализации и сказал:

— Этот часовой механизм будет подключать сигнализацию каждый вечер в десять часов и отключать ее утром, без четверти шесть. Все, что требуется, — заводить его раз в неделю, остальное он возьмет на себя.

Три месяца мы жили в настоящем раю. Фирма прислала гигантский счет, но я заявил, что буду платить не ранее, чем уверюсь, что сигнализация работает без осечек. Я выждал три месяца, после чего выписал чек. Наутро, ровно в десять часов, сигнальный гонг загудел, как сто

тысяч пчелиных ульев. Полистав инструкцию, я перевел стрелки на часовом механизме на двенадцать часов вперед, чтобы выключить сигнализацию. Ночью случилась вторая осечка, и я передвинул стрелку еще на двенадцать часов — чтобы включить сигнализацию снова. Так шло неделю-другую. Потом приехал специалист из Нью-Йорка и заменил часовой механизм. В дальнейшем он приезжал раз в три месяца, чтобы менять часовой механизм, но делу тем не помог. С необъяснимым коварством часовой механизм включал сигнализацию днем и отказывался включать ее ночью, а если мы поднимались с постели, чтобы включить сигнализацию без его помощи, он тут же отключал ее снова, стоило нам отвернуться.

Такова история нашей автоматической сигнализации от воров. Я рассказал вам все в точности, как оно было, не придумав ни слова, ни капли не преувеличив. Так вот, девять лет проспав в доме с грабителями, оплачивая все эти годы сигнализацию от воров, чтобы обеспечить этим ворам покой, — оплачивая из собственного кармана, естественно, потому что с них ничего не возьмешь, — я пришел к миссис Мак-Вильямс и сказал, что я сыт, сыт по горло. Заручившись ее согласием, я снял сигнализацию прочь, выменял ее на собаку и пристрелил собаку. Не знаю, как вы, мистер Твен, а я лично считаю, что все эти сигнализации изобретены специально на пользу ворам. Бунт, пожар и гарем, вместе взятые, — вот что такое сигнализация от воров, но бунт, пожар и гарем имеют наряду с недостатками и кое-какие достоинства, а сигнализация от воров их не имеет. Будьте здоровы, это моя остановка!..

ПИСЬМО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Эндрю Лэнгдону,
углеторговцу
Буффало, штат Нью-Йорк.

Управление ангела-хранителя,
подотдел прошений.
20 января

Имею честь уведомить Вас, что Ваш последний акт самопожертвования и благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человеческие». Отличие это, позволю себе заметить, не только является чрезвычайным, но почти не имеет равных.

По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь Вам сообщить:

1. О похолодании, с последующим повышением цен за антрацит на 15 центов за тонну. — Удовлетворено.

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10%. — Удовлетворено.

3. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкурирующие с Вами фирмы. — Удовлетворено.

4. О покарании человека (вместе с его семьей), открывшего в Рочестере розничную продажу угля. — Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит — два случая (один со смертельным исходом); скарлатина — один (осложнение на уши, глухота, психическое расстройство).

Примечание. Этот человек — служащий Нью-Йоркской центральной железнодорожной компании; было бы правильнее молиться о покарании его нанимателей.

5. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к Вам с просьбами о предоставле-

нии работы или иных видов помощи. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Эта молитва противоречит другой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

6. О ниспослании смерти соседу, швырявшему камнем в вашу любимую кошку, когда та вопила у него под окном. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Находится в противоречии с молитвой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

7. «Пропади они пропадом, эти миссионеры!» — Задержано для дальнейшего рассмотрения, как и две предыдущие.

8. О росте месячной прибыли, составившей в декабре истекшего года 22 230 долларов, до 45 000 долларов к январю этого года и далее в той же пропорции, что было бы, как Вы заверяете, «пределом Ваших желаний». — Удовлетворено с оговоркой касательно этого заверения.

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты угледобывающей Северо-Пенсильванской компании.

Примечание. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить их взрывом руднично газа, о чем, если Вы согласитесь с подобной заменой, вознесите молитву особо.

Эти девять молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, истекшую к 19 января, касающиеся судеб отдельных лиц и идущие под литерой А, удовлетворены нами оптом, — с тем лишь ограничением, что в 3-х из 32-х случаев, когда Вы требуете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимой болезнью.

Названными исчерпывается список Ваших молитв, относящихся, согласно нашей классификации, к *тайным молениям сердца.* По понятным причинам молитвы такого рода рассматриваются нами в первую очередь.

Остальные Ваши молитвы за истекший период относятся к разряду *гласных молений.* В этот разряд входят молитвы, произносимые на молитвенных собраниях, в воскресной школе и дома — в семейном кругу. Мы определяем важность молитв этого рода в зависимости от места, которое лицо, возносящее их, занимает в нашей таблице. В соответствии с нашими правилами мы делим христиан на две основные группы: 1) христиане по призванию; 2) христиане по названию. И та и другая группа подразделяются далее по калибру, подклассу и виду. Окончательная их ценность выражена в каратах — от 1 и до 1000.

В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года Ваши показатели таковы:

Основная группа	Христианин по призванию.
Калибр	0,25 максимально возможной величины.
Подкласс	Человек духовный.
Вид	Избранные, серия А, раздел 16.
Ценность в каратах	322

В балансовой ведомости за истекший квартал, то есть по прошествии сорока лет, Ваши показатели переменились.

Основная группа	Христианин по названию.
Калибр	0,06 максимально возможной величины.
Подкласс	Человек животный.
Вид	Избранные, серия Я, раздел 1547.
Ценность в каратах	3

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что Вы деградировали по всем показателям.

Перехожу к Вашим гласным молениям. Замечу, что, имея в виду поощрять мелкокалиберных христиан, мы часто удовлетворяем даже те их моления, которые мы бы отвергли, если бы их вознесли христиане более крупных калибров — впрочем, они, разумеется, их не возносят.

Молитва о том, чтобы всевышний в своей вечной благости послал тепло бедному и нагому. — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 1. Согласно существующей практике нашего ведомства, тайным молениям сердца, вознесенным христианами по названию, отдается преимущество перед молениями гласными.

Молитва о ниспослании лучшей доли и сытной пищи «изнуренному сыну труда, чьи неутомимые и истощающие усилия обеспечивают удобства и радости жизни для более счастливых смертных и обязывают всех нас неустанно и деятельно оберегать его от обид и несправедливостей со стороны алчных и скаредных и дарить его благодарной любовью». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца за № 2.

Молитва «Да почиет благословение господне на тех, кто поступает в ущерб интересам нашим, а равно и на их семьях. Да будет сердце наше свидетелем, что процветание их радует нас и удесятеряет наше блаженство». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. На-

ходится в противоречии с тайными молениями сердца за № 3 и 4.

Молитва «Не дай погибнуть, о господи, чьей либо грешной душе по слову или делу нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. Получено за пятнадцать минут до тайного моления сердца за № 5, с которым находится в серьезном противоречии. — Предлагается отказаться от одной из молитв или привести их к единству.

Молитва «Помилуй, господи, всех, кто обидел нас и причинил ущерб дому нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. По-видимому, относится и к соседу, швырявшему камнем в кошку. Получено за несколько минут до тайного моления сердца за № 6. — Предлагается устранить противоречие.

«Пусть дело миссионеров, величайший из подвигов, выпадавших когда-либо на долю смертного человека, процветает и ширится в краях, населенных язычниками». Молитва, произнесенная невпопад и без надобности на заседании Бюро Американских Миссионеров. Получено почти на полсуток ранее тайного моления за № 7. — Наше управление не ведает миссионерами и не имеет каких-либо связей с Американским Бюро. Мы готовы удовлетворить одну из этих молитв, но не можем удовлетворить обе. Лучше, мы полагаем, снять первую, которую вы вознесли, находясь в Американском Бюро.

По поводу заключительных слов в тайном молении сердца за № 8 делаю Вам внушение. Эта шутка обросла бородой.

Из 464 пожеланий, содержащихся в Ваших гласных молениях за эту неделю и выше не названных, удовлетворены только два: 1) «Чтобы тучи проливали на землю дождь». 2) «Чтобы солнце светило по-прежнему». Оба пункта так или иначе предусмотрены божественным промыслом, и Вы можете почерпнуть удовлетворение в том, что его не нарушили. Из 462 пожеланий, в которых мы вам отказываем, 61 относится к произнесенным в воскресной школе.

В связи с этим еще раз напомню Вам, что молитвы в воскресной школе, исходящие от мелкокалиберных христиан по названию — этот калибр зовется обычно у нас калибр Ванемейкера, — нами не удовлетворяются. Мы принимаем их просто оптом, по числу слов в единицу времени. Чтобы выполнить минимальную норму, требуется произнести не менее 3000 слов за 15 секунд. 4200 из 5000 возможных — недурной результат для мастеров по молитвам в воскресной школе. Он приравнивается к двум песнопениям и букету от юной девицы в камере бандита перед тем как его повесят.

Остающиеся 401 из Ваших молений мы считаем простым колебанием воздуха. Из подобных молитв мы образуем встречные ветры, чтобы затруднять ход кораблей, принадлежащих нечестивцам. Однако даже для самого слабого ветра их надобно столько, что, как правило, мы их вообще не засчитываем.

К этому официальному уведомлению я хотел бы добавить несколько слов от себя.

Когда люди Вашего типа совершают добрый поступок, мы ценим его в тысячу раз сильнее, чем если бы он

исходил от праведника: мы учитываем затраченное усилие. Ваша прочная репутация здесь объясняется тем, что способность к самопожертвованию развита у вас много сильнее, чем можно было бы того ожидать. В давние времена, когда Ваше состояние не превышало еще 100 000 долларов и Вы послали 2 доллара Вашей родственнице, бедной вдове с детьми, многие здесь в раю просто не верили этому, другие же полагали, что деньги были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о Вас изменилось. Через год или два, когда, получив от бедняжки вторую просьбу о помощи, Вы послали 4 доллара, достоверность этого уже никем не оспаривалась и разговоры о Вашем прекрасном поступке не смолкали в течение многих и многих дней. Минуло еще два года, и вдова воззвала к Вам снова, сообщая о смерти младшенького, и Вы отправили ей на сей раз 6 долларов. Это Вас сильно прославило. Все в раю спрашивали: «Ну как, вы слыхали, что сделал Эндрю?» (К этому времени Вас уже называли здесь любовно: «Эндрю»). Из последующих Ваших даяний ни одно не прошло незамеченным, и благодарная память о Вас не остывала в наших сердцах. Весь рай наблюдает Вас по воскресным дням, когда Вы едете в церковь в своей нарядной карете, и когда вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится по небесному своду, достигая и отдаленных пламенеющих стен преисподней: «Еще пятицентовик от Эндрю!»

Но вот наступил апогей Вашей славы. Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей предлагают место учительницы в отдаленной деревне, но у нее нет денег

на переезд. Чтобы доехать туда с двумя оставшимися в живых ребятишками, потребуется 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль за месяц от Ваших трех угольных шахт — 22 230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возрастет до 45 — 50 000, взяли перо и выписали ей чек *на целых 15 долларов!* О, небывалая щедрость! Да будет имя Ваше благословенно во веки веков! Я не знаю в раю никого, кто не пролил бы слез умиления. Взявшись за руки, мы лобызались, воспевая хвалу Вам, и, подобный громовому раскату, раздался глас с сияющего престола, чтобы деяние Ваше было поставлено выше всех известных доселе примеров самопожертвования и смертных и небожителей, и было навеки занесено на отдельную страницу Великой книги, ибо Вам решиться на это было тяжелее и горше, чем десяти тысячам мучеников взойти на костер. Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души отдать за других свою жизнь, отдать десять тысяч жизней по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей и скареднейшеи гадины, осквернявшей когда-либо землю своим присутствием!»

И как они были правы! Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить Вас в своем лоне и даже наклеил ярлык: «Занято и оплачено». А Петр-ключарь, проливая слезы, сказал: «Пусть только прибудет, мы встретим его факельным шествием». И когда доподлинно стало известно, что Вас ждут райские кущи, небывалое ликование воцарилось в раю. В аду тоже.

Ангел-хранитель (Подпись, печать).

ДНЕВНИК АДАМА

Фрагменты

Понедельник. — Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится: я не привык к обществу. Шло бы себе к другим животным... Сегодня пасмурно, ветер с востока, думаю — мы дождемся хорошего ливня... Мы? Где я мог подцепить это слово?.. Вспомнил — новое существо пользуется им.

Вторник. — Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему? Никому не известно. Говорит, что оно *так выглядит*. По-моему, это еще недостаточное основание. На мой взгляд, это какая-то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой возможности давать какие-либо наименования чему-либо. Новое существо придумывает их, прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз — один и тот же довод — это *так выглядит*. Взять хотя бы додо к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на додо, и сразу видно, «что он вылитый додо». Придется ему остаться додо, ничего не поделаешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему — это же бесполезно! Додо! Он так же похож на додо, как я сам.

Среда. — Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спокойно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось

без приглашения. А когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые служат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попадают в беду! Пусть! Лишь бы только оно не говорило! Но оно говорит не умолкая. Быть может, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу. Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса, и всякий непривычный звук, нарушающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко! Они все время звучат у меня за спиной, над самым ухом — то с одной стороны, то с другой, а я привык только к такому шуму, который доносится из некоторого отдаления.

Пятница. — Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений, музыкальное и красивое: *Райский сад*. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично — уже нет. Новое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев, и скал, и открытых ландшафтов, и следовательно — это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой сад в *Ниагарский парк*. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись:

Я уже не так счастлив, как прежде.

Суббота. — Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протянем. Опять «мы» — это *его* словечко. Но оно стало и моим теперь, — да и немудрено, поскольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно жилось мне здесь когда-то!

Воскресенье. — Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все более и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на неделе. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на которое наложен запрет.

Понельник. — Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не возражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила меня в покое и замолчала.

Вторник. — Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знаками и чрезвычайно оскорбительными надписями:

К ВОДОПАДУ
НА КОЗИЙ ОСТРОВ
К ПЕЩЕРЕ ВЕТРОВ

Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если бы подобралась соответствующая публика. Курорт — это еще одно из ее изобретений, какое-то дикое, лишенное всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спрашивать, она и так одержима манией все разъяснять.

Пятница. — Теперь она пристает ко мне с другим: умоляет не переправляться через водопад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю — почему. Я всегда это делаю — мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него прок, — а ведь зачем-то он существует? Она утверждает, что его создали просто так — как носорогов и мастодонта, — чтобы придать живописность пейзажу.

Я переправился через водопад в бочке — это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался бадьей — она опять осталась недовольна. Я переплыл водоворот и стремнину в купальном костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать скучнейшую нотацию, — она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку.

Суббота. — Я сбежал во вторник ночью и все шел и шел — целых два дня, а потом построил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть следы, но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и которое она называет волком, явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предметов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегу, лишь только представится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Вот, например: она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, питаются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы поедать друг друга, — достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глупое рассуждение, потому что поедать друг друга — значит, убивать друг друга, то есть, как я понимаю, привести сюда то, что называется «смертью», а смерть, насколько мне известно, пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Понедельник. — Кажется, я понял, для чего существует неделя: чтобы можно было отдохнуть от воскресной скуки. По-моему, это очень правильное предположение... Она опять лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что никто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, чтобы рисковать и

подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее в восторг... и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово.

Вторник. — Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте... Она пребывает в тревоге из-за сарыча, — говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей не удастся его выходить. По ее мнению, сарычу положено питаться падалью. Ну, ему придется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем ниспровергнуть всю нашу систему в угоду сарычу.

Суббота. — Вчера она упала в озеро: гляделась, по своему обыкновению, в воду и упала. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совершенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов, чему она, впрочем, не придает ни малейшего значения, так как что ни говори, а она все-таки просто-напросто дурочка. Словом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в мою постель, чтобы они обогрелись, но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они холодные и скользкие, и оказывается, это не так уж приятно лежать среди них, особенно нагишом.

Воскресенье. — Кое-как скоротал время.

Вторник. — Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, потому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко.

Пятница. — Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием дело не ограничится, — она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку, мне следовало быть осторожнее, — мое замечание только навело ее на мысль: она решила, что тогда ей легче будет выходить больного сарыча и подкормить свежим мясом приунывших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу.

Среда. — Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь — сел на лошадь и гнал ее во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь другой стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя, по обыкновению, друг с другом или просто грезя о чем-то, вдруг ни с того ни с сего все они начали издавать какой-то бешеный, ужасающий рев, в долине мгновенно воцарился хаос, и я увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло: Ева вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть... Тигры съели мою лошадь, не обратив ни малейшего вни-

мания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они съели бы и меня, замешкайся я там, но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился наутек... Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне сносно, но она разыскала меня и тут. Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда, заявив, что это *так выглядит*. Правду сказать, я не огорчился, когда увидел ее, потому что поживиться здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так голоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что правила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт... Она явилась задрапированная пучками веток и листьев, а когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швырнул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось видеть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. Невзирая на голод, я положил на землю надкушенное яблоко (оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда-либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел), собрал разбросанные листья и ветки и украсился ими, а затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав принести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличие и не выставлять себя подобным образом напоказ. Она сделала, как я ей сказал, после чего мы пробрались в долину, где произошла битва зверей, раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них костюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не слишком удобно,

но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только это и требуется... Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще одно: она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. Тут она может оказаться полезной. Руководить буду я.

Десять дней спустя. — Она обвиняет *меня:* говорит, что я виновник катастрофы! Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный плод — вовсе не яблоки, а лимоны! Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою невиновность, ибо я никогда не ел лимонов. Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет чисто иносказательный смысл, ибо под «лимонами» условно подразумевается все, что мгновенно набивает оскомину, как, например, плоские, избитые остроты. При этих словах я побледнел, так как от нечего делать не раз позволял себе острить, и какая-нибудь из моих острот действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевной считал их вполне острыми и свежими. Она спросила меня, не сострил ли я невзначай как раз накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное, хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал: «Какое удивительное зрелище являет собой вся эта масса воды, ниспровергающаяся сверху вниз!» И тотчас, подобно молнии, меня осенила блестящая острота, и я позволил себе облечь ее мысленно в слова: «А ведь было бы еще удивительнее, если

бы вся эта вода начала ниспровергаться снизу вверх!» Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха, — и в то же мгновение вся природа словно взбесилась, вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, спасая свою жизнь.

— Вот видишь! — сказала она с торжеством. — Так оно и есть. Именно подобные остроты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон, потому что ими пользуются с сотворения мира.

Увы, по-видимому, во всем виноват я! Лучше бы уж мне не обладать остроумием! Лучше бы уж эта блестящая острота никогда не приходила мне в голову!

На следующий год. — Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, как я был в отлучке — расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех, — она сама нетвердо знает — где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, возможно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по-моему, это заблуждение. Разница в размерах уже сама по себе служит доказательством того, что это какое-то новое существо, отличной от нас породы. Быть может, это рыба, хотя, когда я для проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила его, помешав мне, таким образом, довести эксперимент до конца и установить истину. Все же я склонен думать, что оно из породы рыб, но ей, по-видимому, совершенно безразлично, что это такое, и она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор как у нас

появилось это существо, ее словно подменили — с безрассудным упрямством она не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить — почему. Она повредилась в уме — все признаки налицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает визг — просится, по-видимому, в воду. Она пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успокоить, и еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по-всякому ее жалеет, а из углублений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять начинает течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами, и это внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не лишились наших владений, она, случалось, таскала на руках маленьких тигрят и забавлялась с ними, но то была просто игра. Она никогда не принимала так близко к сердцу, если у тигрят после обеда делалось расстройство желудка.

Воскресенье. — По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном изнеможении и позволяет рыбе кувыркаться через нее, и это явно доставляет ей удовольствие. Она издает ртом какие-то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто кусает ее конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись. Это наводит меня на размышления... Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь целую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. Нужно было бы

устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь оказалось, что они наступают чрезвычайно вовремя.

Среда. — Нет, это не рыба. Я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем-нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз подирает по коже, а когда его ублажат — говорит «гу-гу». Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не птица, потому что не летает, и не лягушка, потому что не прыгает, и не змея, потому что не ползает, и я почти уверен, что это не рыба, хотя до сих пор не имел возможности установить, умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное вело себя подобным образом. Я сказал, что, по-моему, это какая-то загадка, но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, — совершенно не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое-то насекомое. Если оно подохнет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно поставлен в тупик.

Три месяца спустя. — Я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех ногах, ибо его передние ноги ненормально коротки, и от этого выдающаяся часть его туловища как-то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По своему сложению оно сильно напоминает нас, но его способ передвижения заставляет пред-

полагать, что это существо не нашей породы. Длинные задние и короткие передние лапы указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых, но это, несомненно, совершенно особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают, а оно никогда этого не делает. В общем, это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не был классифицирован. Поскольку он открыт мной, я считаю себя вправе приписать себе славу этого открытия и наименовать его в мою честь — *Кенгуру Адамовидное*... Должно быть, оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто невероятно. Оно сейчас стало по крайней мере раз в пять крупнее, и если что-нибудь не по нем, производит раз в двадцать — тридцать больше шуму, чем прежде. Применение силы не только не усмиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отказаться от этой меры воздействия. Она успокаивает его с помощью убеждения или тем, что дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, меня не было дома, когда оно у нас появилось, и она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется неправдоподобным, чтобы это был один-единственный экземпляр на свете, но, по-видимому, это так. Я совершенно измучился — несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем поиграть (ведь тогда бы он наверняка немного угомонился и нам было бы легче его приручить), но так и не нашел ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, и что особенно странно — никаких следов. Оно не

может не ходить по земле, хочет оно того или не хочет, как же тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без всякого толку. В них попались все как есть маленькие зверюшки, только не оно. И эти зверьки, как мне кажется, забирались в капканы просто из любопытства — поглядеть, для чего там поставлено молоко. Никто из них к нему и не притронулся.

Три месяца спустя. — Кенгуру все продолжает расти — это очень странно и внушает тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько времени, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы, с той только разницей, что она гораздо тоньше и мягче и не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро сойду с ума от неслыханных, несуразных капризов и причуд этого не изученного наукой биологического уродца. Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного, подобного ему... Но все напрасно. Это один-единственный экземпляр какой-то совершенно новой зоологической разновидности. Сомнения больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, полагая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые посочувствовали бы ему в его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его повадок, и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей. Но это было ошибкой; он так испугался при виде кенгуру, что с ним сделал-

ся припадок, и я понял — ему еще никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нечего и думать: чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ничтожный зверенок неистовствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил его на волю, но она и слышать об этом не хочет. По-моему, это очень жестоко и совсем непохоже на нее, — и все же, быть может, она права. Быть может, тогда это существо будет еще более одиноко, — ведь если уж я не мог найти другого, подобного ему, так разве ж оно найдет?

Пять месяцев спустя. — Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько шагов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разновидность медведя, однако у него нет хвоста — пока во всяком случае — и нет шерсти, кроме как на голове. Оно все еще продолжает расти, и это обстоятельство кажется мне в высшей степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. Медведи теперь опасны (со времени катастрофы), и я бы не хотел, чтобы этот и впредь разгуливал где ему вздумается без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если она согласится выпустить медвежонка на волю, но ничего не вышло. Как видно, она хочет, чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем иной, пока не лишилась рассудка.

Две недели спустя. — Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен: у него только один зуб. И по-

прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, особенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если у него будет полна пасть зубов, тогда — с хвостом или без хвоста — ему придется убраться отсюда восвояси. В конце концов медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы представлять опасность для окружающих.

Четыре месяца спустя. — Был в отлучке около месяца — ловил рыбу и охотился в местности, которую она, неизвестно почему, называет Бизон, — вероятнее всего, потому, что там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоятельно передвигаться на задних лапах и говорить: «паппа» и «мамма». Несомненно, это совершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, конечно, объясняться какой-то случайностью, и вполне допустимо, что они лишены всякого смысла и ровно ничего не обозначают, но тем не менее это все же нечто из ряда вон выходящее и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным отсутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста — достаточно яркое доказательство того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспедицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на Севере леса. Не может быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр, а тот,

что у нас, несомненно будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе подобным. Решил отправиться не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник.

Три месяца спустя. — О, как утомительна была эта охота, а главное — как безрезультатна! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного! В жизни не видал, чтобы кому-нибудь так везло! А мне бы нипочем не заполучить этой твари, даже если бы я скитался по лесам еще лет сто.

На следующий день. — Я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но она по каким-то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет невознаградимой утратой для науки. Старший стал более ручным теперь, научился смеяться и говорить, как попугай, — по-видимому оттого, что он так много времени проводит в обществе попугая и к тому же обладает чрезвычайно развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в конечном счете окажется, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже пора ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успело перебыть всем на свете, — всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает сырое мясо с каким-то серовато-желтоватым оттенком, а голова у него тоже

необычайно странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель.

Десять лет спустя. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало с толку то, что они появились на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хороший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с ней, чем без нее — в Раю. Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кротость нрава.

ДНЕВНИК ЕВЫ

Перевод с оригинала

Суббота. — Мне уже почти исполнился день. Я появилась вчера. Так, во всяком случае, мне кажется. И, вероятно, это именно так, потому что, если и было позавчера, меня тогда еще не существовало, иначе я бы это помнила. Возможно, впрочем, что я просто не заметила, когда было позавчера, хотя оно и было. Ну что ж. Теперь я буду наблюдательней, и если еще раз повторится позавчера, я непременно это запишу. Пожалуй, лучше на-

чать сразу же, чтобы потом не напутать чего-нибудь в хронологии: какой-то внутренний голос подсказывает мне, что все эти подробности могут впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я — эксперимент; да я положительно ощущаю себя экспериментом, просто невозможно сильнее ощущать себя экспериментом, чем это делаю я, и поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что это именно так: я — эксперимент, просто эксперимент, и ничего больше.

Ну, а если я эксперимент, значит, эксперимент — это я? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, все остальное — тоже часть этого эксперимента. Я главная его часть, но и все остальное, по-моему, участвует в эксперименте. Можно ли считать, что мое положение окончательно определилось, или я еще должна опасаться за себя и смотреть в оба? Вероятно, скорее, последнее. Внутренний голос говорит мне, что превосходство покупается ценой неусыпной бдительности. (Мне кажется, это очень удачное изречение для такого юного существа, как я.)

Сегодня все выглядит значительно лучше, чем вчера. Вчера под конец пошла такая горячка, что горы были нагромождены как попало, а равнины так завалены всякими осмолками и разным хламом, что это производило чрезвычайно удручающее впечатление. Прекрасные и благородные произведения искусства не должны создаваться в спешке, а этот величественный новый мир — воистину прекрасное и благородное творение и стоит на грани совершенства, хотя и создавался в столь краткий срок. Звезд кое-где, пожалуй, многовато, а в других мес-

тах не хватает, но это, без сомнения, нетрудно исправить. Луна прошлой ночью оборвалась, покатилась вниз и выпала из мирозданья. Это очень большая потеря, и у меня сердце разрывается, когда я об этом думаю. Среди всех орнаментов и украшений нет ничего, что могло бы сравниться с ней по красоте и законченности. Ее следовало прикрепить получше. Если б только можно было вернуть ее обратно...

Но никому, разумеется, неизвестно, куда она могла упасть. И уж конечно, тот, кто ее найдет, постарается спрятать ее подальше, — я знаю это, потому что и сама бы так поступила. Мне кажется, во всех других отношениях я могу быть честной, но уже сейчас я начинаю понимать, что основа основ моей натуры — это любовь к прекрасному, страстная тяга к прекрасному, и поэтому доверить мне чужую луну не безопасно, особенно если лицо, которому луна принадлежит, не знает о том, что она у меня. Я бы еще, пожалуй, вернула луну, если бы нашла ее среди бела дня, — побоялась бы, что кто-нибудь видел, как я ее взяла. Но найди я ее в темноте, тут уж, мне думается, я сумела бы под каким-нибудь предлогом утаить свою находку. Потому что я без ума от лун — они такие красивые и такие романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук пять или шесть. Я бы тогда совсем не стала спать, мне никогда не наскучило бы лежать на мягком мху, глядеть ввысь и любоваться ими.

Звезды мне тоже нравятся. Мне бы хотелось достать две-три и воткнуть себе в волосы. Но боюсь, что это невозможно. Просто трудно поверить, до чего они от нас далеко, потому что ведь с виду этого не скажешь. Когда

они впервые появились — прошлой ночью, — я пробовала сбить несколько штук палкой, но не могла дотянуться ни до одной, и это меня очень удивило. Тогда я стала швырять в них комьями глины и швыряла до тех пор, пока совсем не обессилела, но так ничего и не сбила. Это потому, что я левша и у меня нет меткости. Даже когда я нарочно бросала не в ту звезду, в которую целилась, мне не удавалось сбить ни той, ни другой, хотя я и попадала довольно точно и видела, как черный комок глины раз сорок, а то и пятьдесят летел прямо в золотую гроздь и только каким-то чудом ничего не сбил. Вернее, если бы у меня хватило сил продержаться еще немного, я непременно сбила бы хотя бы одну звезду.

Признаться, я немножко всплакнула, что, мне кажется, вполне естественно в моем возрасте, а потом, отдохнув, взяла корзинку и направилась к краю нашей круглой площадки, где звезды висят совсем невысоко от земли и их можно просто сорвать рукой, — что, кстати сказать, гораздо лучше, потому что это можно сделать осторожно, так чтобы их не поломать. Но идти пришлось дальше, чем я думала, и в конце концов я была вынуждена отказаться от своего намерения: я так устала, что не могла сделать больше ни шагу, и к тому же натерла себе ноги, и они ужасно разболелись.

Я не могла вернуться домой, потому что зашла слишком далеко и стало очень холодно, но мне повстречалось несколько тигров, и я устроилась между ними так уютно, что почувствовала себя на верху блаженства: у тигров удивительно приятное, ароматное дыхание — это потому, что они питаются земляникой. Я еще никогда до той ми-

нуты не видала тигров, но тут сразу их узнала, потому что они полосатые. Если бы я могла раздобыть себе где-нибудь такую шкурку, из нее вышло бы прелестное платье.

Сегодня я начинаю уже лучше разбираться в расстояниях. Мне так хотелось завладеть всеми красивыми вещами, что я очертя голову пыталась их схватить, и оказывалось, что одна гораздо дальше от меня, чем я думала, а другая — наоборот: я думала, что до нее целый фут, а на самом деле было всего каких-нибудь шесть дюймов, — но зато, увы, сколько шипов в каждом дюйме! Это послужило мне уроком. Кроме того, я открыла одну аксиому — дошла до нее своим умом, — и это была моя первая аксиома: *оцарапавшийся эксперимент шипа боится.* Мне кажется, для такого юного создания, как я, это совсем неплохо сказано.

Вчера после полудня я долго следовала за другим экспериментом, на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он, но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видела мужчины, но этот выглядит, как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Я сделала открытие: это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое пресмыкающееся. Если, конечно, оно пресмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на пресмыкающееся. У него нет бедер, оно суживается книзу, как морковка, а когда стоит, — раздваивается, как рогатка. Словом, я думаю, что это пресмыкающееся, хотя, может быть, это и конструкция.

Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий

раз, как оно оборачивалось ко мне, — думала, что оно хочет меня поймать; но мало-помалу я поняла — оно, наоборот, старается ускользнуть от меня, — и тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним ярдах в двадцати от него, в результате чего оно стало очень пугливо, и вид у него сделался совсем несчастный. В конце концов оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой.

Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево.

Воскресенье. — Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть. Но это просто уловка: воскресенье — не день отдыха, для этого предназначена суббота. Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать. А по-моему, это невероятно утомительно — отдыхать так много. Даже просто сидеть под деревом и сторожить его утомляет меня. Мне очень хочется узнать — для чего оно: я еще ни разу не видела, чтобы оно что-нибудь делало. Вчера вечером они вернули луну на место, и я была так рада! Я считаю, что это очень порядочно с их стороны. Луна опять покатилась вниз и упала, но это не огорчило меня: когда имеешь таких соседей, беспокоиться не о чем — они повесят луну обратно. Мне бы хотелось как-то выразить им свою признательность. Хорошо бы, например, послать им немножко звезд, потому что нам их и так девать некуда. Вернее, не нам, а мне, ведь пресмыкающееся, по моим наблюдениям, абсолютно не интересуется такими вещами.

У него низменные вкусы и нет доброты. Вчера я отправилась к нему в сумерках и увидела, что оно слезло с дерева и старается поймать маленьких пятнистых рыбок, которые плавают в озере, и мне пришлось пустить в ход комья земли, чтобы оно оставило рыбок в покое и залезло обратно на дерево. Неужели для этого оно и существует? Неужели у него нет сердца? Неужели у него нет сострадания к этим крошечным тварям? Неужели оно было задумано и сотворено для такого неблагородного занятия? Похоже на то. Швыряя в него землей, я попала ему один раз в голову, и оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые услышала чью-то речь, помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма выразительно.

Когда я открыла, что оно обладает даром речи, мой интерес к нему повысился, так как я очень люблю болтать. Я болтаю весь день и даже во сне, и меня очень интересно слушать; но если бы мне было с кем болтать, то получалось бы вдвойне интереснее, и я могла бы болтать, никогда не умолкая, стоило бы меня об этом попросить.

Если пресмыкающееся — мужчина, тогда ведь это не *оно*, — не так ли? Это было бы грамматической ошибкой, правда? Мне кажется, в этом случае полагается говорить *он;* думаю, что так. Тогда склонение будет выглядеть следующим образом: именительный — *он*; дательный — *ему*; предложный — *о ём*. Словом, я буду считать его мужчиной и называть *он* до тех пор, пока не выяснится, что это нечто другое. Так будет удобнее, иначе слишком много неопределенностей.

Следующая неделя. Воскресенье. — Целую неделю я неотступно следовала за ним и старалась познакомиться. Всю беседу мне приходилось брать на себя, потому что он очень застенчив; впрочем, мне это ничего не стоило. Ему, по-видимому, приятно, что я все время возле него, а я из учтивости стараюсь как можно чаще говорить «мы», — ему, мне кажется, льстит, что он этим как бы приобщается ко мне.

Среда. — Мы теперь совсем неплохо ладим друг с другом и знакомимся все ближе и ближе. Он уже не пытается больше ускользнуть от меня; и это добрый знак, — видимо, ему нравится мое общество. Это мне приятно, и я учусь быть ему полезной, чем только могу, чтобы еще больше расположить его к себе. В последние дни я освободила его от необходимости подыскивать названия для различных предметов, что было для него большим облегчением. У него нет никаких к этому способностей, и он явно очень мне благодарен. Он, хоть ты его режь, не может придумать ни одного сколько-нибудь толкового названия, но я делаю вид, что не замечаю этого его недостатка. Как только появляется какая-нибудь новая тварь, я сейчас же даю ей имя, пока он не успел обнаружить свое невежество неловким молчанием. Я не раз таким способом выводила его из затруднительного положения. Я-то совершенно не страдаю таким недостатком, как он. Стоит мне только взглянуть на какое-нибудь животное, и я уже знаю, что это такое. Я даже не даю себе труда задуматься хоть на мгновение: правильное наименование рождается у меня молниеносно, как по наитию свыше, — да так, без сомнения, оно и есть, ибо я совершенно твердо

знаю, что еще секунду назад не имела ни малейшего представления об этом слове. Должно быть, просто по внешнему виду каждой твари и по ее повадкам я сразу угадываю, что это за зверь.

Когда, например, появился додо, *он* принял его за дикую кошку, — я поняла это по его глазам. Но я спасла его. И я постаралась сделать это так, чтобы его гордость не пострадала. Я просто сказала самым естественным тоном, словно была приятно удивлена: «Поглядите, да ведь это додо! Ну конечно же, это додо!» Да, я сказала это так, будто мне и в голову не могло прийти, что он нуждается в моей информации. И я объяснила, как бы ничего не объясняя, откуда я знаю, что это — додо; и если его и задело слегка, что я узнала эту птицу, а он — нет, тем не менее было совершенно очевидно, что он мною восхищен. Мне это было чрезвычайно приятно, и я снова и снова с огромным удовлетворением вспоминала об этом, прежде чем уснуть. Какая малость может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что она вполне заслужена нами!

Четверг. — Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не хотел, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить, думала, что это какое-то недоразумение, — ведь я так люблю быть возле него и слушать, что он говорит, — как же это может быть, чтобы он стал дурно относиться ко мне, если я не сделала ничего плохого? Но в конце концов я увидела, что, должно быть, это все же так, и тогда я ушла и долго сидела совсем одна там, где впервые увидела его в то утро, когда мы были созданы и я еще не знала, что он такое, и была совершенно безразлична к нему. Но теперь это место было овеяно для меня

печалью, каждый пустяк напоминал мне здесь о нем, и сердце ныло. Это чувство было для меня ново, и я сама не понимала, почему грущу. Я никогда еще не испытывала ничего подобного; во всем этом было что-то таинственное, и я не могла понять, что со мной.

Но когда настала ночь, я почувствовала, что не в силах больше выносить одиночества, и направилась к новому шалашу, который он для себя построил: я хотела спросить его, что я такое сделала и как мне вернуть его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было мое первое горе.

Воскресенье. — Теперь опять все хорошо и я счастлива. Но то были очень тяжелые для меня дни, и я стараюсь не вспоминать о них.

Я хотела достать для него несколько плодов с той самой яблони, но никак не могу научиться бросать метко. Из моей затеи ничего не вышло, однако мне кажется, что мое доброе намерение было ему приятно. Трогать эти яблоки запрещено, и он сказал, что я наживу себе беду. Но если я наживу себе беду, доставляя ему удовольствие, так не все ли мне равно?

Понедельник. — Сегодня утром я сообщила ему мое имя, думая, что ему будет интересно. Но он даже не обратил на это внимания. Как странно. Если бы он сообщил мне свое имя, мне бы это не было безразлично. Мне кажется, звук его имени был бы самым сладостным для моих ушей.

Он очень мало говорит. Быть может потому, что он не слишком сообразителен и сам страдает от этого и старается это скрыть? Если это действительно его мучает, мне

очень его жаль, потому что ум — ничто, сердце — вот что в нас ценно. Мне бы хотелось заставить его понять, что сердце, способное любить, — это богатство, подлинное богатство; рассудок же без сердца — нищ.

Несмотря на то, что он так мало говорит, лексика его довольно богата. Сегодня утром он употребил одно поразительно хорошее слово. Должно быть, он и сам это понял, потому что повторил его потом еще раза два, как бы невзначай. Нельзя сказать, чтобы это получилось у него очень ловко, но тем не менее ясно, что он не лишен известного чутья. Не может быть сомнения в том, что эти семена, если за ними ухаживать, могут дать отличные всходы.

Откуда он взял это слово? Не помню, чтобы я когда-нибудь его употребляла.

Нет, мое имя не интересует его совершенно. Я старалась скрыть свое разочарование, но боюсь, что мне это не удалось. Тогда я ушла и долго сидела на поросшем мхом берегу, опустив ноги в воду. Я всегда так делаю, когда мне не хватает общества и тянет поглядеть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, мне этого недостаточно — недостаточно этой прелестной белой фигурки, которая виднеется там, в озере, — но все же это хоть что-нибудь, а что-нибудь — лучше, чем полное одиночество. Она говорит, когда я говорю; когда я печальна — и она печальна; она сочувствует мне и утешает меня; она говорит: «Не падай духом, бедная одинокая девочка, я буду тебе другом». И правда — это мой верный друг, и притом единственный. Это моя сестра.

О, этот час, когда она впервые покинула меня! Я ни-

когда не забуду этого — никогда, никогда. Как тяжело стало у меня на сердце! Я сказала: «Кроме нее, у меня не было ничего, и вот ее не стало!» Я сказала в отчаянии: «Сердце, разбейся! У меня нет сил больше жить!» И я закрыла лицо руками и зарыдала безутешно. А когда через несколько минут я подняла голову, она снова была там — белая, сверкающая и прекрасная, и я кинулась в ее объятия! Это было настоящее блаженство. Я знала счастье и прежде, но это было совсем другое, это было упоительно. С тех пор я никогда больше не сомневалась в ней. Порой она пропадала где-то — иногда час, иногда почти весь день, но я ждала и верила ей. Я говорила: «У нее дела или она отправилась путешествовать. Но она вернется». И правда, она всегда возвращается. Она робкое, пугливое создание, и потому никогда не показывается в темные ночи, но как только всходит луна, она тут же появляется. Сама я не боюсь темноты, но ведь она моложе меня: сначала родилась я, а она — потом. Много, много раз я приходила к ней — она мое утешение и опора в трудные минуты жизни, а этих минут так много.

Вторник. — Все утро я работала — приводила в порядок наши владения — и нарочно старалась не попадаться ему на глаза, в надежде, что он соскучится и придет. Но он не пришел.

В полдень, покончив с дневными трудами, я отдыхала: играла с бабочками и пчелами и нежилась среди цветов — этих прекраснейших созданий божьих, которые ловят в небе улыбку Творца и хранят ее в своих чашечках. Я нарвала цветов, сплела из них венки и гирлянды, укра-

силась ими и позавтракала второй раз — как всегда, яблоками. Потом сидела в тени, томилась и ждала. Но он не пришел.

Но все равно. Ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что он не любит цветов. Он говорит, что это мусор, не умеет отличить один цветок от другого и думает, что это значит быть выше мелочей. Он не любит меня, он не любит цветов, он не любит красок вечереющего неба, — интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет, да еще строить шалаши, чтобы прятаться туда от славного освежающего дождика.

Я положила на землю сухую палку и старалась другой палкой просверлить в ней дырку. Мне это было нужно для одного опыта, который я задумала, но тут мне пришлось пережить ужасный испуг. Над дырой взвилось что-то легкое, прозрачное, голубоватое, и я бросила палку и кинулась бежать! Я думала, что это дух, и страшно испугалась! Но потом, оглянувшись, я увидела, что он не гонится за мной, и тогда я прислонилась к скале, чтобы немного отдышаться и прийти в себя, и подождала, пока руки и ноги у меня не перестанут дрожать и не начнут снова вести себя как надо. После этого я осторожно прокралась обратно; каждую минуту я готова была пуститься наутек. Подойдя поближе, я раздвинула ветви розового куста и посмотрела на палку (как жаль, что мужчины не было поблизости, — я выглядела так очаровательно в эту минуту!), но дух исчез. Я подошла еще ближе и увидела в высверленной дырке горстку алой пыли. Я сунула туда па-

лец — хотела пощупать, но тут же закричала и отдернула руку. Я почувствовала жгучую боль. Тогда я сунула палец в рот, попрыгала сначала на одной ноге, потом на другой, постонала немножко, и это принесло мне некоторое облегчение. Но острый интерес уже пробудился во мне, и я принялась исследовать.

Мне очень хотелось понять, что такое эта алая пыль. И неожиданно меня осенило, хотя я никогда не слышала об этом прежде: это *огонь!* Если можно вообще быть в чем-нибудь уверенной, то я была абсолютно уверена в том, что это огонь, и потому без малейшего колебания так его и назвала.

Я создала нечто такое, чего не существовало прежде; к неисчислимому миру вещей я добавила еще одну вещь. Я поняла это и была горда, — и уже хотела побежать, найти мужчину и рассказать ему о своем достижении, чтобы поднять себя этим в его глазах, но, подумав немного, решила этого не делать. Нет — его этим не проймешь. Он спросит: а зачем это нужно? И что я ему отвечу тогда? Потому что, если это *ни к чему не пригодно,* то просто красиво, только красиво...

Словом, я вздохнула и не пошла за ним, потому что мое открытие действительно ни к чему не пригодно, — с его помощью нельзя ни построить шалаша, ни улучшить сорта дынь, ни ускорить созревания плодов; оно совершенно бесполезно, — это просто глупость и пустое тщеславие; и он, конечно, отнесется к нему с презрением и скажет что-нибудь язвительное. Но я не могла отнестись к своему открытию с презрением. Я сказала: «О ты, огонь! Я люблю тебя, изысканное нежно-алое создание!

Люблю потому, что ты *прекрасен*, и этого с меня довольно!» И, сказав так, я хотела прижать его к груди. Но я сдержала свой порыв. И тут же придумала новый афоризм — я дошла до него своим умом, но он так похож на мое первое изречение, что, боюсь, не является ли он плагиатом: *«Обжегшийся эксперимент огня боится»*.

Я снова принялась за работу, и когда у меня получилась довольно большая кучка огненной пыли, я высыпала ее на пучок сухой травы — мне хотелось унести ее домой, чтобы всегда иметь под рукой и играть с ней когда вздумается, — но ветер дунул на травку, взметнул ее вверх, и она так страшно зашипела на меня, что я выронила ее из рук и бросилась бежать. А когда я оглянулась, голубой дух вился и клубился там, точно облако, и в ту же секунду я его узнала — это был *дым!* Однако даю вам слово, что до той минуты я никогда и не слыхала про дым.

И почти тут же ослепительно-желтые и красные языки пробились сквозь дым, и я мгновенно назвала их *пламя*, — и, конечно, не ошиблась, хотя это было первое пламя на земле. Пламя стало прыгать на деревья, величественно сверкая и то прорываясь сквозь огромную и все растущую завесу клубящегося дыма, то исчезая за ней, и я невольно захлопала в ладоши, рассмеялась и принялась танцевать от восторга, — все это было так ново и так чудесно, так удивительно и прекрасно!

Он прибежал со всех ног, остановился, уставился на огонь, широко раскрыв глаза, и минут пять — десять не произносил ни слова. Потом спросил: что это такое? Ах, ну зачем понадобилось ему ставить вопрос ребром! Я, разумеется, вынуждена была ответить, и я ответила. Я ска-

зала, что это огонь. Если ему было неприятно, что приходится спрашивать у меня, это не моя вина. Мне совсем не хотелось сердить его.

Помолчав, он спросил:

— Откуда он взялся?

Еще один прямой вопрос, который тоже требовал прямого ответа.

— Я его сделала.

Огонь распространялся все дальше и дальше. Он подошел к краю выгоревшей лужайки, остановился, посмотрел на землю и спросил:

— А это что?

— Угли.

Он поднял один уголек, чтобы получше его рассмотреть, но, как видно, передумал и положил обратно. Потом он ушел. *Ничто не интересует его.*

А меня интересует. На земле лежал пепел — серый, мягкий, нежный и красивый, и я сразу поняла, что это пепел. И еще там была тлеющая зола. Я ее тоже сразу узнала. И я нашла там мои яблоки и выгребла их из золы. Я им очень обрадовалась, потому что я ведь еще молода и у меня хороший аппетит. Но я была разочарована: все яблоки полопались и были совершенно испорчены. Впрочем, оказалось, что они испорчены только с виду, — на самом же деле они стали вкуснее сырых. Огонь прекрасен, и мне кажется — когда-нибудь он будет приносить пользу.

Пятница. — В понедельник, поздно вечером, я опять увидела *его* на минуту, — но только на одну минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за усердие, с каким я приводила наши владения в порядок, — ведь я работала,

не покладая рук, и побуждения у меня были самые лучшие, — но он ничем не выразил своего одобрения, повернулся и ушел. Больше того — он был недоволен, и вот по какой причине: я сделала еще одну попытку убедить его не переплывать водопада. Дело в том, что огонь пробудил во мне новое чувство — совершенно новое и абсолютно не похожее ни на любовь, ни на печаль, ни на что-либо другое, что мне уже доводилось испытывать. Это чувство — страх. И это ужасное чувство! Зачем только я его узнала! Оно омрачает мою жизнь, мешает мне быть счастливой, заставляет меня дрожать, трепетать и вздрагивать. Но мне не удалось убедить его, потому что он еще не познал страха и, следовательно, не в состоянии меня понять.

ИЗ ДНЕВНИКА АДАМА

(фрагмент)

Вероятно, я не должен забывать, что она еще очень молода, совсем девочка, в сущности, и требует к себе снисхождения. Она полна любопытства, все интересует ее, жизнь кипит в ней ключом, и в ее глазах мир — это чудо, тайна, радость, блаженство; когда она видит новый цветок, она не может вымолвить ни слова от восторга — она ласкает его, и играет с ним, и беседует, и нюхает его, и осыпает самыми нежными именами. И она помешана на красках: коричневые скалы, желтый песок, серый мох, зеленая листва, синее небо; жемчужно-розовая заря, фиолетовые тени в ущельях, золотые островки облаков в багряном

океане заката, бледная луна, плывущая среди рваных туч, алмазная россыпь звезд, мерцающих в безграничном пространстве, — все это, насколько я могу судить, не имеет ни малейшей практической ценности, но раз в этом есть краски и величие — для нее этого достаточно, она совершенно теряет голову. Если бы она могла не суетиться так и хоть изредка, хоть две-три минуты побыть в покое, это было бы необычайно отрадное зрелище! В этом случае, мне кажется, на нее было бы приятно смотреть; я даже уверен, что мне это было бы приятно, так как я начинаю замечать, что она на редкость миловидное создание: гибкая, стройная, изящная, округлая, ловкая, проворная, грациозная... И както раз, когда она, мраморно-белая и вся залитая солнцем, стояла на большом камне и, закинув голову, прикрывая глаза рукой, следила за полетом птицы в небе, я понял, что она красива.

Понедельник, полдень. — Если есть на всей планете хотя бы один предмет, который ее не интересует, то я, во всяком случае, не берусь его назвать. Некоторые животные лишены для меня всякого интереса, но для нее таких не существует. Она не делает различий, одинаково обожает их всех, считает сокровищами и каждое новое животное встречает с распростертыми объятиями.

Когда гигант бронтозавр забрел в наш лагерь, она нашла, что это очень ценное приобретение, в то время как я воспринял это как бедствие. Вот отличный пример полной дисгармонии наших с ней взглядов. Она хотела приручить бронтозавра, а я хотел подарить ему наш участок и переселиться в другое место. Она верит, что, обращаясь с ним хорошо, его можно выдрессировать и превратить в нечто

вроде любимой комнатной собачки; а я сказал, что комнатная собачка в двадцать один фут высотой и в восемьдесят четыре фута длиной не особенно удобна в домашнем обиходе, так как эта громадина может с самыми лучшими намерениями сесть невзначай на наш дом и смять его в лепешку, — ведь легко можно заметить, насколько это чудовище рассеянно, достаточно посмотреть на выражение его глаз.

Но ей уже во что бы то ни стало хотелось иметь чудовище, и она не пожелала с ним расстаться. Она решила, что мы можем организовать молочную ферму, и просила меня помочь ей подоить его. Но я отказался, так как это было слишком рискованно. Прежде всего оно было совсем неподходящего пола, и, кроме того, мы еще не обзавелись приставной лестницей. Тогда она задумала ездить на нем верхом и любоваться окрестностями. Футов тридцать — сорок его хвоста лежало на земле, подобно поваленному дереву, и она решила, что сумеет забраться к чудовищу на спину по хвосту, но ей это не удалось. Она вскарабкалась только до того места, где подъем стал слишком крут, и полетела вниз, потому что хвост оказался скользким, и если бы я вовремя не подхватил ее, она бы сильно ушиблась.

Вы думаете, она успокоилась после этого? Ничуть не бывало. Она никогда не успокаивается до тех пор, пока все не испробует: не проверенные опытом теории — это не по ее части, они ее не удовлетворяют. Должен признаться, что это отличное качество, оно мне очень по душе; я чувствую, что заражаюсь им от нее и что полностью воспринял бы его, если бы мы больше общались. Кстати, у нее была еще одна идея относительно этого колосса: она думала,

что нам удастся приручить его и заставить подружиться с нами, и тогда мы сможем поставить его поперек реки и ходить по нему, как по мосту. Но выяснилось, что он и сейчас уже достаточно приручен, — во всяком случае, с ней он совсем ручной, — и она попыталась претворить свою идею в жизнь, но ничего из этого не вышло: стоило ей установить чудовище в нужном положении поперек реки и сойти на берег, чтобы испробовать свой новый мост, оно тотчас вылезало из воды и тащилось за ней по пятам, как ручная гора. Совершенно так же, как и все прочие животные. Они все это делают.

Пятница. — Вторник, среда, четверг и сегодня — все эти дни я не видела его. Трудно так долго быть одной, но все же лучше быть одной, чем являться непрошеной.

Однако я не могу обходиться без общества; мне кажется, общество — это моя стихия, и я завожу дружбу с животными. Они очаровательны, у них легкий, приятный нрав и самое вежливое обхождение; они никогда не бывают угрюмы, никогда не дают вам понять, что вы явились не вовремя; они улыбаются вам и машут хвостом, если он у них есть, и всегда готовы порезвиться с вами или совершить маленькую экскурсию, — словом, согласны на все, что бы вы им ни предложили. Я считаю, что они истинные джентльмены. Все эти дни мы так чудесно проводили время, и я ни разу не почувствовала себя одинокой. Одинокой? Нет, о нет! Ведь их целые стаи вокруг, иной раз они занимают пространство в четыре-пять акров — просто не сочтешь; и когда стоишь на скале и оглядываешься кругом, на это море шерсти, такое пестрое, и веселое, и красочное, а все эти пятна и

полосы переливаются на солнце, словно рябь, — может показаться, что это и впрямь море, только я-то знаю, что это все же не так. А временами налетает настоящий шквал общительных птиц и проносятся ураганы машущих крыл, и когда лучи солнца пронизывают этот пернатый хаос, перед глазами у вас реют разноцветные молнии, горят и сверкают все краски мира, и можно проглядеть все глаза, любуясь на это.

Мы совершали большие экскурсии, и я повидала не малую часть света; мне кажется даже, что я повидала его почти весь. Таким образом, я — первый путешественник на земле, и единственный пока. Когда мы в пути, это очень величественное зрелище — ему нет равного. Для удобства передвижения я еду обычно верхом на тигре или на леопарде, потому что у них мягкая, округлая спина, на которой приятно сидеть, и потому что они такие миловидные животные; но для далеких путешествий или для тех случаев, когда мне хочется полюбоваться окрестностями, я пользуюсь слоном. Своим хоботом он сажает меня к себе на спину, но спуститься вниз я могу и без посторонней помощи: когда мы решаем сделать привал, он садится, и я спускаюсь на землю, так сказать, с черного крыльца.

Все птицы и все животные дружат друг с другом, и между ними никогда не возникает никаких разногласий. Они все умеют говорить и разговаривают со мной, но, должно быть, это какой-то иностранный язык, потому что я не понимаю ни слова. Однако сами они нередко понимают, когда я говорю им что-нибудь; особенно хорошо понимают меня собака и слон, и мне в этих случаях

всегда бывает очень стыдно: ведь это показывает, что они умнее меня и я должна признать их превосходство. Это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и надеюсь все же им быть.

Я уже узнала довольно много различных вещей и стала теперь образованная, чего раньше никак нельзя было про меня сказать. Вначале я была совершенно невежественна. Первое время я, сколько ни билась, никак не могла уследить, когда водопад взбегает обратно на гору, — у меня не хватало на это соображения, и мне было очень досадно, но теперь я успокоилась. Я следила и сопоставляла, и теперь я знаю, что вода никогда не бежит в гору при свете — только когда темно. Я поняла, что она проделывает это в темноте, потому что озеро не высыхает, а ведь если бы вода не возвращалась ночью обратно на свое место, то оно непременно бы высохло. Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: тогда действительно можно приобрести *знания,* в то время как строя догадки и делая умозаключения, никогда не станешь по-настоящему образованным человеком.

Некоторые вещи понять невозможно, но вы до тех пор не поймете, что они непознаваемы, пока будете пытаться их разгадать и строить различные предположения; нет, вы должны набраться терпения и производить опыты, пока не откроете, что ничего открыть нельзя. А ведь именно это и восхитительно — мир тогда становится необычайно интересен. А если бы нечего было открывать, жизнь стала бы скучной. И в конце концов, стараться открыть и ничего не открывать — так же интересно, как стараться открыть и открывать, а быть может, даже еще интереснее.

Тайна водопада была подлинным сокровищем, пока я ее не раскрыла, после чего весь интерес пропал и я познала чувство утраты.

С помощью экспериментов я установила, что дерево плавает, а также и сухие листья, и перья, и еще великое множество различных предметов; отсюда, делая обобщение, можно прийти к выводу, что скала тоже должна плавать, но приходится просто признать, что это так, потому что доказать это на опыте нет никакой возможности... пока что. Я, конечно, найду и для этого способ, но тогда весь интерес пропадет. Мне становится грустно, когда я думаю об этом: ведь мало-помалу я открою все, и тогда не из-за чего будет волноваться, а я это так люблю! Прошлую ночь я никак не могла уснуть — все размышляла над этим.

Прежде я не могла понять, для чего я была создана на свет, но теперь, мне кажется, поняла: для того, чтобы раскрывать тайны этого мира, полного чудес, и быть счастливой, и благодарить Творца за то, что он этот мир создал. Я думаю, что есть еще очень много тайн, которые мне предстоит узнать, — я надеюсь, что это так; и если действовать осторожно и не слишком спешить, их, по-моему, должно хватить не на одну неделю, — я надеюсь, что это так. Если подбросить перо, оно реет в воздухе и скрывается из виду. А если бросить комок глины, он этого не делает. Он всякий раз падает на землю. Я пробовала снова и снова, и всегда получается одно и то же. Интересно, почему это? Конечно, я понимаю, что на самом деле он не падает, но почему должно непременно так *казаться*? Вероятно, это оптический обман. То есть я хочу

сказать, что одно из этих двух явлений — оптический обман. А какое именно, я не знаю. Быть может, в случае с пером, быть может — с комком глины; я не могу доказать ни того, ни другого, я могу только продемонстрировать оба, и станет ясно, что одно из двух — обман, а какое именно — каждый может решать по своему усмотрению.

Из наблюдений я знаю, что звезды не вечны. Я видела, как иные, самые красивые, вдруг начинали плавиться и скатывались вниз по небу. Но раз одна может расплавиться, значит, могут расплавиться и все, а раз все могут расплавиться, значит, они могут расплавиться все в одну ночь. И это несчастье когда-нибудь произойдет, я знаю это. И я решила каждую ночь сидеть и глядеть на звезды до тех пор, пока смогу бороться со сном; я постараюсь запечатлеть в памяти весь этот сверкающий простор, так чтобы, когда звезды исчезнут, я могла бы с помощью воображения вернуть эти мириады мерцающих огней на черный купол неба и заставить их сиять там снова, двоясь в хрустальной призме моих слез.

ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Он был прекрасен, несравненно прекрасен, упоительно прекрасен, а теперь он потерян для нас, и я никогда больше его не увижу.

Сад утрачен навеки, но я нашла *его*, и я довольна. Он любит меня, как умеет; я люблю его со всем пылом моей страстной натуры, как и подобает, мне кажется,

моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю, да, по правде говоря, и не особенно стремлюсь понять; такая любовь, думается мне, не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой, как любовь к другим пресмыкающимся или животным. Да, вероятно, все дело в этом. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю вовсе не за то, как он поет, — нет, не за это. Чем больше он поет, тем меньше мне это нравится. И все же я прошу его петь, потому что хочу приучиться любить все, что нравится ему, и уверена, что приучусь, — ведь сначала я совершенно не могла выносить его пение, а теперь уже могу. От его пения киснет молоко, но и это не имеет значения, — к кислому молоку тоже можно привыкнуть.

Я люблю его не за его сообразительность, — нет, не за это. Каков бы он ни был — это не его вина, ведь он не сам себя создал. Он таков, каким его создал господь, и этого для меня вполне достаточно. Тут была проявлена особая мудрость, я совершенно в этом уверена. Со временем его умственные способности разовьются, хотя, я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить? Он достаточно хорош и так.

Я люблю его не потому, что он деликатен, заботлив и чуток, — нет; у него есть недостатки в этом отношении, но он достаточно хорош, несмотря на них, и притом уже начал понемногу исправляться.

Я люблю его не потому, что он трудолюбив, нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем ему нужно его от меня скрывать. Вот

единственное, что меня печалит. Во всем остальном он теперь вполне откровенен со мной. Я уверена, что, помимо этого, он ничего от меня не утаивает. Меня печалит, что он находит нужным держать от меня что-то в тайне, и порой я долго не могу уснуть — все думаю об этом. Но я заставлю себя выкинуть эти мысли из головы — ведь, кроме них, ничто не омрачает моего счастья.

Я люблю его не потому, что он очень образован, нет, не потому. Он — самоучка и действительно знает уйму всяких вещей, да только все это не так.

Я люблю его не потому, что он рыцарственно благороден. Нет, не потому. Он выдал меня, но я его не виню — это свойство его пола, мне кажется, а ведь не он создал свой пол. Конечно, я бы никогда не выдала его, я бы скорее погибла, но это тоже особенность моего пола, и я не ставлю себе этого в заслугу, так как не я создала свой пол.

Так почему же я люблю его? Вероятно, *просто потому, что он мужчина.*

В глубине души он добр, и я люблю его за это, но будь иначе, я бы все равно любила его. Если бы он стал бранить меня и бить, я бы все равно продолжала любить его. Я знаю это. Мне кажется, все дело в том, что таков мой пол.

Он сильный и красивый, и я люблю его за это, и восхищаюсь, и горжусь им, — но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Будь он нехорош с виду, я бы все равно любила его; будь он калекой — я любила бы его, и я бы работала на него, и была бы его рабой, и молилась бы за него, и бодрствовала у его ложа, пока жива.

Да, я думаю, что люблю его просто потому, что он *мой*, и потому, что он *мужчина*. Другой причины не существует, мне кажется. И поэтому, вероятно, я правильно решила с самого начала: такая любовь не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Она просто *приходит* совершенно неизвестно откуда, и объяснить ее нельзя. Да и не нужно.

Так думаю я. Но ведь я только женщина, почти ребенок, и притом первая женщина, которая пытается разобраться в этом вопросе, — и очень может статься, что по своей неопытности и невежеству я сделала неправильный вывод.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Единственное мое желание и самая страстная моя мольба — чтобы мы могли покинуть этот мир вместе; и эта мольба никогда не перестанет звучать на земле, она будет жить в сердце каждой любящей жены во все времена, и ее нарекут молитвой Евы.

Но если один из нас должен уйти первым, пусть это буду я, и об этом тоже моя мольба, ибо он силен, а я слаба, и я не так необходима ему, как он мне; жизнь без него — для меня не жизнь, как же я буду ее влачить? И эта мольба тоже будет вечной и будет возноситься к небу, пока живет на земле род человеческий. Я — первая жена на земле, и в последней жене я повторюсь.

У МОГИЛЫ ЕВЫ

Адам. Там, где была она, — был Рай.

БАНКОВЫЙ БИЛЕТ В 1 000 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Когда мне было двадцать семь лет, я служил клерком в маклерской конторе в Сан-Франциско и прекрасно разбирался во всех тонкостях биржевых операций. Я был один на свете, мне не на что было рассчитывать, кроме своих способностей и незапятнанной репутации, и это толкало меня на поиски счастья, а пока что я жил надеждами на будущее.

По субботам, после обеда, я мог свободно располагать своим временем и обычно проводил его, катаясь на маленьком паруснике по заливу. Однажды я заехал слишком далеко, и меня унесло в открытое море. С наступлением темноты, когда надежда на спасение была почти потеряна, меня подобрал маленький бриг, направлявшийся в Лондон. Путешествие было долгое и бурное, и меня заставили отработать проезд в качестве простого матроса. Когда я сошел на берег в Лондоне, мой костюм был потерт и оборван, и в кармане у меня оставался всего один доллар. Этих денег хватило, чтобы доставить мне пищу и кров на двадцать четыре часа. В следующие двадцать четыре часа я обходился без пищи и крова.

На следующее утро, часов в десять, я слонялся по Портленд-плейс, оборванный и голодный, когда ребенок, которого тащила на буксире нянька, бросил в канаву большую сочную грушу, откусив от нее всего один раз. Я остановился, разумеется, и устремил голодные глаза на валявшееся в грязи сокровище. У меня набрался полон

рот слюны, желудок терзали спазмы, все мое существо требовало груши. Но каждый раз, как я делал к ней движение, чей-нибудь глаз мимоходом замечал это, и я, разумеется, выпрямлялся, напускал на себя равнодушный вид, притворяясь, будто совсем не думаю о груше. Так повторялось несколько раз, и я все не мог достать эту грушу. Я дошел до такого отчаяния, что решил отбросить всякий стыд и схватить грушу, как вдруг у меня за спиной открылось окно и какой-то джентльмен, высунувшись оттуда, позвал:

— Зайдите сюда, пожалуйста.

Лакей в нарядной ливрее открыл мне дверь и проводил меня в великолепно убранную комнату, где сидели два пожилых джентльмена. Они отпустили слугу и попросили меня сесть. Хозяева только что позавтракали, и при виде остатков этого завтрака я едва не лишился чувств. Мне до сумасшествия хотелось есть, но мне никто не предложил, волей-неволей пришлось обойтись так.

Надо вам сказать, что незадолго перед тем произошло нечто такое, о чем я в то время не знал и узнал лишь впоследствии. Дня два тому назад между двумя пожилыми братьями вышел спор, и в конце концов, чтобы разрешить его, они побились об заклад, — у англичан это обычный способ улаживать дело.

Вы, должно быть, помните, что Английский банк выпустил однажды два билета по миллиону фунтов каждый, предназначавшихся для какой-то особо важной сделки с иностранным государством. Почему-то только один из них был использован и погашен, а другой все еще лежал в банковских сейфах. И вот братья, беседуя между собой,

стали спорить о том, какова была бы судьба безукоризненно честного и неглупого иностранца, если б он очутился в Лондоне без друзей и без денег, имея только билет в миллион фунтов, и был бы не в состоянии объяснить, откуда у него этот билет. Брат А. говорил, что он умер бы голодной смертью, брат Б. говорил, что не умер бы. Брат А. говорил, что он не мог бы предъявить билет в банке или еще где-нибудь, потому что его тут же арестовали бы. Так они спорили до тех пор, пока брат Б. не выразил готовность держать пари на двадцать тысяч фунтов, что этот человек во всяком случае сумеет прожить месяц с миллионным билетом и не попасть в тюрьму. Брат А. принял пари. Брат Б. отправился в банк и купил этот билет. Истый англичанин, как видите: сказано — сделано. Потом он продиктовал письмо одному из своих клерков, который написал его красивым, круглым почерком, потом оба брата сели у окна и целый день высматривали нужного человека.

Они видели много таких честных лиц, которые казались им недостаточно умными; много таких, которые были умны, но недостаточно честны; много таких, которые были и умны и честны, но обладатели их не казались достаточно бедными, а если и были достаточно бедны, то не походили на иностранцев. Каждому чего-нибудь да не хватало. Наконец появился я; они решили, что я подхожу во всех отношениях, и я был избран единогласно и теперь ждал, когда же мне скажут, для чего меня позвали. Они начали расспрашивать меня и скоро узнали всю мою историю. Наконец они сказали мне, что я вполне подхожу для их цели. Я ответил, что искренне

рад, и спросил, какая же это цель. Тогда один из них протянул мне конверт и сказал, что объяснение находится внутри. Я хотел было распечатать конверт, но он остановил меня и сказал, чтобы я вернулся к себе, прочел письмо внимательно и поступил бы обдуманно и не торопясь. Я был удивлен и настаивал на том, чтобы братья объяснили мне, в чем дело, но они отказались. Я простился с ними, обиженный и оскорбленный тем, что мне приходится служить предметом явного издевательства; однако был вынужден примириться с этим, так как мои обстоятельства не позволяли мне обижаться на богатых и сильных.

Теперь я подобрал бы грушу и съел бы ее перед целым светом, но груша исчезла; значит, и тут я потерпел убыток, что отнюдь не смягчило моих чувств по отношению к двум пожилым джентльменам. Как только их дом скрылся из виду, я распечатал конверт и увидел, что в нем лежат деньги. Надо вам сказать, что я сразу переменил мнение об этих людях. Не теряя ни секунды, я сунул письмо и деньги в карман жилета и побежал в ближайший дешевый ресторан. Боже мой, как я ел! Наевшись так, что уже не мог проглотить больше ни куска, я достал билет, развернул и, бросив на него беглый взгляд, чуть не упал в обморок. Пять миллионов долларов. Голова у меня закружилась.

Прежде чем прийти в себя, я сидел, должно быть, не меньше минуты в остолбенении, уставясь на билет и моргая глазами. Первое, что я заметил, был хозяин. Он застыл на месте, не сводя глаз с билета. Он преклонялся перед ним душой и телом и, как видно, не мог шевельнуть

ни рукой, ни ногой. Я мгновенно сообразил, как мне держаться, и сделал то единственно разумное, что можно было сделать. Протянув ему билет, я сказал небрежным тоном:

— Разменяйте, пожалуйста.

Тут он очнулся и, придя в нормальное состояние, рассыпался в извинениях, что не может разменять этот билет, и ни за что не хотел до него дотронуться. Он глядел на него, не сводя глаз, и все не мог наглядеться досыта, но боялся притронуться к нему хоть бы пальцем, словно это был предмет настолько священный, что простому смертному не подобало брать его в руки. Я сказал:

— Очень жаль, если это вас затрудняет, но я все-таки настаиваю на своем. Пожалуйста, разменяйте этот билет, у меня нет других денег.

Но он ответил, что это не беда, он с удовольствием подождет до другого раза с таким пустяковым счетом. Я сказал, что, может быть, очень не скоро буду поблизости от его ресторана, но он ответил, что это ничего не значит, он согласен подождать; мало того, я могу требовать у него в ресторане все, что только мне угодно и когда только мне угодно, и пускай счет растет, сколько мне будет угодно. Неужели же он побоится поверить в долг такому богачу, как я, только потому, что мне вздумалось в веселую минуту подшутить над публикой и нарядиться нищим. В это время вошел другой посетитель, и хозяин подмигнул мне, чтобы я спрятал эту диковинку подальше, потом с поклонами довел меня до двери, и я отправился прямо к тому дому, где жили братья, чтобы исправить ошибку, прежде чем полиция начнет меня разыскивать. Я был очень взволнован, по-

просту сказать — перепугался порядком, хотя, разумеется, ни в чем не был виноват; однако я достаточно хорошо знал людей и понимал, что, дав бродяге миллион фунтов вместо одного и обнаружив свою ошибку, они придут в неистовое бешенство и рассердятся на бродягу, вместо того чтобы сердиться на собственную рассеянность. Подойдя к дому, я несколько успокоился, так как все кругом было тихо, и почувствовал уверенность в том, что ошибка еще не обнаружена. Я позвонил. Появился тот же слуга. Я спросил, нельзя ли видеть джентльменов.

— Они уехали.

И это было сказано высокомерным, холодным тоном, свойственным лакейской породе.

— Уехали? Куда уехали?

— Путешествовать.

— Но куда же все-таки?

— На континент, я думаю.

— На континент?

— Да, сэр.

— Но куда же, в каком направлении?

— Не могу сказать, сэр.

— Когда же они вернутся?

— Они сказали, через месяц.

— Через месяц! О, это ужасно! Скажите мне хоть приблизительно, куда им можно написать. Это в высшей степени важно!

— К сожалению, не могу. Я не имею сведений, куда они уехали, сэр.

— Тогда я должен видеть кого-нибудь из членов семьи.

— Семья тоже в отъезде, уже несколько месяцев за границей — в Египте или в Индии.

— Дорогой мой, произошла невероятная ошибка, они вернутся еще до вечера. Вы скажите им, что я был здесь и что буду ходить, пока это дело не уладится, так что им нечего опасаться.

— Скажу, если они вернутся, но я их не жду. Они сказали, что вы явитесь через час и будете наводить справки, и просили передать вам, что все в порядке, они вернутся вовремя и будут ждать вас.

Мне пришлось бросить расспросы и уйти. Какая загадочная история! Я просто сходил с ума. Они будут здесь «вовремя». Что это может значить? Ах, может быть, письмо объяснит что-нибудь! Я забыл про письмо. Я достал его и прочел. Вот что в нем было сказано:

«Вы умный и честный человек, что видно по вашему лицу. Мы предполагаем, что вы бедны и недавно в Лондоне. К письму приложена некоторая сумма. Мы даем ее вам взаймы на тридцать дней, без процентов. Явитесь в этот дом по истечении этого времени. Я держал за вас пари. Если я выиграю, вы получите любое место, какое имеется в моем распоряжении, то есть любую работу, с какой вы знакомы и какую сможете выполнять».

Ни подписи, ни адреса, ни числа.

Ну и попал же я в переплет! Вы теперь знаете, с чего все это началось, а я тогда не знал. Для меня это была глубокая, неразрешимая загадка. Я не имел ни малейшего представления о том, что все это значит, хотят ли мне добра или зла. Я пошел в парк и сел на скамейку — подумать и решить, что мне делать.

Через час мои размышления вылились в такую форму: «Может быть, эти люди хотят мне добра; может быть, они хотят мне зла; нет возможности узнать — чего именно. Оставим это. Они задумали какую-то игру, или опыт, или план, — нет возможности определить, что именно. Оставим это. За меня держат пари, — нет возможности решить, какое именно. Оставим это. Таким образом, неизвестные величины скинуты со счета, а все остальное вполне осязаемо, весомо и без труда может быть рассортировано и снабжено ярлыками. Если я попрошу Английский банк положить этот билет на счет владельца, они это сделают, потому что владелец им известен, хотя я его не знаю; но они спросят у меня, откуда у меня этот билет, и если я скажу правду, меня, разумеется, посадят в сумасшедший дом, а если я совру, то попаду на скамью подсудимых. То же выйдет, если я вздумаю разменять билет или занять под него денег. Волей-неволей придется влачить это тяжкое бремя до возвращения моих джентльменов. Мне от этого билета так же мало пользы, как от горсти золы, и все-таки я должен о нем заботиться и беречь его, питаясь подаянием. Подарить его я никому не могу, — ни честный гражданин, ни разбойник ни за что его не возьмут, не захотят впутываться в это дело. Братья ничем не рискуют. Даже если я потеряю билет или сожгу его, они все-таки ничем не рискуют, потому что могут приостановить платежи, и банк им вернет эту сумму, а мне тем временем придется целый месяц жить без заработка и терпеть нужду ни за что ни про что, если только я не помогу выиграть пари, в чем бы оно ни заключалось, и не получу места, которое мне обещано. Я был бы не прочь — у лю-

дей этого рода бывают в распоряжении места, ради которых стоит постараться».

Я много раздумывал о будущем месте. Мои надежды начали оживать. Без сомнения, жалованье будет большое. Через месяц я начну его получать, и тогда все будет в порядке. Очень скоро я уже чувствовал себя превосходно. В это время я опять бродил по улицам. При виде портновской мастерской мне ужасно захотелось сбросить мои лохмотья и снова одеться прилично. Мог я себе это позволить? Нет, у меня в кармане не было ничего, кроме миллиона фунтов. И я заставил себя пройти мимо. Но скоро меня потянуло назад. Искушение жестоко мучило меня. Стойко сопротивляясь ему, я, должно быть, раз шесть прошел взад и вперед мимо мастерской. Наконец я не выдержал и сдался. Я вошел и спросил, нет ли у них случайного костюма, не взятого заказчиком. Мастер, с которым я заговорил, кивнул на другого и ничего не ответил мне. Я подошел к другому, тот кивнул на третьего, тоже без слов. Я подошел к третьему, и тот сказал:

— Обождите, я с вами займусь.

Я подождал, пока он кончит какое-то свое дело, и он повел меня в заднюю комнату, где перебрал целую кучу бракованных костюмов и выбрал для меня самый дрянной. Я надел его. Он мне не годился и имел невзрачный вид, зато он был новый, и мне очень не хотелось с ним расставаться, поэтому я не нашел в нем никаких недостатков и сказал довольно робко:

— Может быть, вы сделаете мне одолжение и подождете уплаты несколько дней? У меня нет при себе мелких денег.

Сообщив своему лицу самое саркастическое выражение, он сказал:

— Ах, вот как? Ну, разумеется, я так и знал. У таких господ, как вы, водятся только крупные деньги!

Я обиделся и сказал:

— Друг мой, не следует судить о незнакомом человеке только по одежде. Я могу заплатить за этот костюм; я просто не хотел затруднять вас разменом крупной суммы.

Он слегка изменил свое обращение со мной и сказал все-таки довольно дерзко:

— Я ничего обидного не хотел сказать, но если уж дело дошло до упреков, то я мог бы сказать, что вы тоже напрасно думаете, будто мы не можем разменять любого билета, какой при вас имеется. Наоборот, мы можем.

Я протянул ему билет и сказал:

— Ах, очень хорошо; извините.

Он взял его с улыбкой, с одной из тех широких улыбок, которые расплываются во все лицо, образуя складочки, морщинки и завитушки, будто пруд, когда в него швыряешь кирпичом; но как только он бросил беглый взгляд на билет, эта улыбка застыла, пожелтела и стала похожа на те волнистые, червеобразные потоки окаменевшей лавы, какие встречаются на склонах Везувия. Мне еще никогда не приходилось видеть такой примерзшей на веки вечные улыбки. Мастер стоял с этой самой улыбкой, держа билет в руках, но тут к нам протолкался хозяин мастерской посмотреть, что делается, и живо сказал:

— Ну, что такое, что случилось, в чем дело?

Я сказал:

— Ничего не случилось, я дожидаюсь сдачи.

— Ну-ну, дай ему сдачу, Тод, дай ему сдачу.

Тод возразил:

— Дай ему сдачу! Легко сказать, сэр, взгляните-ка вы сами на эту бумажку.

Хозяин взглянул, тихо и выразительно свистнул, потом нырнул в кучу забракованных заказчиками костюмов и начал расшвыривать их направо и налево, в то же время приговаривая взволнованно и словно про себя:

— Подсовывать чудаку миллионеру такую мерзость! Тод дурак, он дураком и родился. Всегда что-нибудь перепутает. Этак он всех миллионеров отсюда распугает, где уж ему отличить миллионера от бродяги, никогда он этому не выучится! Ага, вот оно, как раз то, что требуется. Будьте любезны, сэр, снимите всю эту дрянь и бросьте ее в огонь. Сделайте мне честь, сэр, примерьте вот эту рубашку и этот костюм, — вот именно, это как раз то, что нужно: просто, богато, скромно и благородно, как на герцоге; ведь это сделано на заказ для одного иностранного принца, сэр; вы, может быть, его знаете — его светлость господарь Галифакса. Он вернул этот костюм и заказал нам траур, потому что матушка у него собралась было умирать, а потом раздумала. Ну и что же из этого, не всегда бывает так, как нам... то есть так, как им... ну вот! Брюки хороши, сэр, сидят на вас превосходно. Теперь жилет — опять-таки хорошо! Теперь сюртук... Боже мой! Посмотрите сами! Весь костюм — совершенство! За всю мою практику не видывал ничего удачнее!

Я выразил ему свое удовольствие.

— Совершенно верно, сэр, совершенно верно! Должен вам сказать, для перемены и это годится. Но подождите, посмотрите сначала, что мы можем сделать для вас по вашей мерке. Ну, Тод, бери книгу и карандаш, да поживее. Длина брюк — тридцать два... — и т. д.

Не успел я вставить и слова, как он снял с меня мерку и уже заказывал фраки, визитки, рубашки и прочее в том же роде.

Улучив минутку, я сказал:

— Но, дорогой мой сэр, я не могу дать заказ на эти вещи, разве только вы согласитесь ждать неопределенное время или разменять билет.

— Неопределенное время! Это слабо сказано, сэр, слабо сказано! Вечно — вот настоящее слово, сэр! Тод, поторопись там с этими вещами и отошли по адресу джентльмена, не задерживая ни минуты. Пускай мелкие заказчики подождут. Запиши адрес джентльмена.

— Я переезжаю с квартиры. На днях я зайду к вам и оставлю новый адрес.

— Совершенно справедливо, сэр, совершенно справедливо! Одну минуту — позвольте мне проводить вас, сэр. Вот сюда. Всего лучшего, сэр, всего лучшего!

Теперь вы понимаете, что должно было случиться?

Я самым естественным образом пришел к тому, что начал покупать разные вещи и просить сдачи. Через неделю я был великолепно одет, пользовался комфортом и даже роскошью и жил в дорогом особняке на Ганновер-сквер. Обедал я дома, а завтракал в том скромном ресторанчике Гарриса, где впервые поел на свой билет в

миллион фунтов. Я создал Гаррису репутацию. Распространился слух, что заведению покровительствует чудак иностранец, который носит в жилетном кармане банковые билеты по миллиону фунтов. Этого было довольно. Из бедного, захудалого, перебивавшегося со дня на день ресторанчика заведение Гарриса стало модным местом, и от посетителей не было отбоя. Гаррис чувствовал ко мне такую благодарность, что постоянно навязывал деньги взаймы и даже слышать не хотел об отказе; и вот у такого нищего, как я, всегда водились деньги, и жил я не хуже богатых и знатных. Я предчувствовал, что скорый крах неизбежен, но, попав в воду, надо плыть к берегу или тонуть. В этом был элемент неминуемой беды, придававший нечто серьезное, отрезвляющее и даже трагическое положению вещей, которое без этого было бы чистой комедией. По ночам, в темноте, трагическое выступало на передний план, предостерегало и грозило, — я стонал и метался, и сон бежал от моих глаз. Но в веселом свете дня трагический элемент тускнел и исчезал, а я не чувствовал под собой земли и был счастлив до головокружения; можно сказать, был пьян от счастья.

И это было естественно: я стал одной из достопримечательностей столицы мира, и это вскружило мне голову, — и не то чтобы слегка, а порядком. Нельзя было взять в руки газету, все равно какую — английскую, шотландскую или ирландскую, без того, чтобы не наткнуться на «Миллион в кармане», — так меня прозвали. Сначала обо мне упоминалось в самом низу столбца светской хроники, потом я обогнал баронетов, потом лордов, потом баронов и так далее и так далее, все повышаясь, по мере

того как росла моя известность, пока наконец не достиг высшей точки и не занял места выше всех герцогов королевской крови и выше всех духовных особ, кроме архиепископа Кентерберийского. Заметьте, это была еще не слава: пока что я добился только популярности. Затем грянул завершающий удар, так сказать, возводящий меня в рыцарское достоинство, он в одно мгновение ока превратил бренный мусор популярности в неувядаемое золото славы: в «Панче» поместили на меня карикатуру! Да, теперь моя карьера была сделана, я нашел свое место. Надо мной еще можно было шутить, но почтительно, не грубо; разрешалось улыбаться, но не смеяться. Было для этого время, да прошло. «Панч» изобразил меня в лохмотьях, приценивающимся к лондонскому Тауэру. Можете себе представить, как это подействовало на юнца, который до сих пор находился в полной безвестности, а теперь не мог сказать слова, чтобы его не подхватили и не разнесли по всему городу; не мог сделать шага, чтобы не услышать замечания, переходящего из уст в уста: «Идет, идет! Вот он!»; не мог позавтракать без того, чтобы вокруг не собралась толпа зрителей; не мог появиться в театральной ложе, чтобы на него не направили разом тысячи биноклей.

Я просто купался в лучах славы с утра до вечера, — вот как обстояло дело.

Вы знаете, я даже сохранил мои старые лохмотья и время от времени показывался в них, ради удовольствия купить какой-нибудь пустяк и быть обруганным, а потом убить ругателя наповал миллионным билетом. Но и это продолжалось недолго. Мои лохмотья стали настолько

известны по карикатурам в газетах, что меня сразу узнавали, когда я появлялся в них, и целая толпа ходила за мной по пятам, и если я покушался что-нибудь купить, хозяин немедленно предлагал мне весь магазин в кредит, даже еще не видя билета.

Приблизительно на десятый день своей славы я решил отдать долг родине, сделав визит американскому посланнику. Он попенял мне за то, что я так долго медлил с визитом, и сказал, что простит меня только в том случае, если я соглашусь отобедать у него сегодня вечером, заняв свободное место одного из гостей, который заболел. Я согласился, и мы разговорились. Оказалось, что они с моим отцом были в детстве школьными товарищами, позже учились вместе в йельском университете и оставались близкими друзьями до самой смерти отца. Поэтому он пригласил меня проводить у него в доме все свободное время, и, само собой разумеется, я с удовольствием согласился.

Сказать по правде, я не только охотно согласился, но даже был рад. Когда произойдет крах, посланник, может быть, сумеет как-нибудь спасти меня от окончательной погибели; я не знал еще, каким образом, но, может быть, он сумеет найти выход. Дело шло к концу, и я так и не отважился открыться ему, что не замедлил бы сделать в начале моей головокружительной карьеры. Нет, я не мог осмелиться на это теперь, я слишком далеко зашел, для того чтобы рисковать, разоблачая себя перед новым другом, хотя, в сущности, если разобраться, я зашел не дальше, чем следовало. Видите ли, при всех моих займах я старался держаться в

пределах моих средств, то есть в пределах моего жалованья. Разумеется, я не мог знать, какое мне положат жалованье, но для моих расчетов у меня имелось достаточное основание: если я выиграю пари, я смогу выбирать любое место, какое только имеется в распоряжении этого богатого джентльмена, если окажусь пригоден, — а я, конечно, окажусь пригоден, в этом я нисколько не сомневался. Что касается пари, то о нем я не беспокоился, мне всегда везло. Я рассчитывал на жалованье от шестисот до тысячи в год: скажем, в первый год шестьсот — и так далее год за годом, пока я не дойду до высшей цифры, показав, на что способен. Пока я задолжал всего только мое жалованье за первый год. Все наперебой предлагали мне деньги взаймы, но я держался твердо и почти всегда отказывался под тем или иным предлогом, так что мой долг состоял всего из трехсот фунтов, взятых взаймы, и еще трехсот, которые пошли на мое содержание и покупки. Я был уверен, что на жалованье за второй год я сумею прожить до конца месяца, если буду по-прежнему расчетлив и экономен, а в этом отношении я намерен был проявить твердость. Когда месяц кончится и мой хозяин вернется из путешествия, все уладится: я поделю жалованье за два года между своими кредиторами и сразу примусь за работу.

Обед вышел прелестный, приглашенных было четырнадцать человек: герцог и герцогиня Файф-о-Клок, их дочь — леди Анна-Грация-Элеонора-Селеста де Буль-Терьер, граф и графиня Плум-Пудинг, виконт Ростбиф, лорд и леди Кольдкрем, нетитулованные особы обоего пола, сам посланник с женой и дочерью и гостившая у них

англичанка — подруга дочери, девушка лет двадцати двух, по имени Порция Лэнгем, — в которую я влюбился с первого взгляда, как и она в меня; я это и без очков заметил. Был еще один гость — американец. Но я немножко забегаю вперед. Пока приглашенные сидели в гостиной, нагуливая аппетит к обеду и холодно оглядывая опоздавших, слуга доложил:

— Мистер Ллойд Гастингс.

После обычного обмена приветствиями Гастингс завидел меня и сейчас же подошел, приветливо протягивая руку, но вдруг остановился, так и не пожав мне руки, и смущенно сказал:

— Прошу извинения, сэр, я думал, что мы знакомы.

— Ну, конечно, знакомы, дружище.

— Не может быть! Так это вы?..

— «Миллион в кармане»?! Да, это я. Не бойтесь называть меня этой кличкой, я к ней привык.

— Ну-ну, вот это так сюрприз! Я видел раза два вашу фамилию в соединении с этим прозвищем, но мне и в голову не приходило, что вы и есть тот самый Генри Адамс. Ведь еще не прошло и полугода с тех пор, как вы были клерком на жалованье у Блэка Гопкинса во Фриско и просиживали целыми ночами, помогая мне проверять отчеты Гулда и Кэрри. И подумать только, что вы в Лондоне, архимиллионер и такая знаменитость! Да это просто тысяча и одна ночь! Милый мой, я никак не могу взять этого в толк, просто не понимаю! Дайте мне опомниться, у меня голова кругом идет!

— Суть в том, Ллойд, что я тоже ничего не понимаю. У меня тоже голова кругом идет.

— Боже правый, это поразительно, это просто поразительно! Всего три месяца тому назад мы сидели вместе в ресторане «Рудокоп».

— Нет, в «Вашем здоровье».

— Правильно, в «Вашем здоровье»; пришли туда в два часа ночи, прокорпев шесть часов подряд над бумагами. И за кофе и котлетами я убеждал вас поехать со мной в Лондон, предлагая выхлопотать вам отпуск, оплатить все расходы и дать кое-что наличными, если мне удастся выгодно реализовать дело. А вы не хотели меня слушать, говорили, что ничего мне не удастся и что вы не можете рисковать службой, а потом, вернувшись домой, терять время на то, чтобы снова войти в курс. И все-таки вы здесь. Удивительно! Как это вышло, что вы приехали сюда, и с чего началась ваша сказочная карьера?

— О, это вышло случайно. Долгая история, целый роман, можно сказать. Я вам все расскажу, только не теперь.

— А когда же?

— В конце этого месяца.

— Но это же целые две недели? Никакое человеческое любопытство столько не выдержит. Давайте через неделю.

— Не могу. Со временем вы узнаете почему. Расскажите лучше, как идут ваши дела?

Его оживление разом исчезло, и он сказал со вздохом:

— Вы были сущим пророком, Генри, сущим пророком. Лучше бы я не приезжал. Мне не хочется об этом говорить.

— Нет, вы должны сказать. Отсюда вы непременно поедете ко мне и все мне расскажете.

— Можно? Вы не шутите? — И слезы навернулись у него на глазах.

— Да, я хочу знать все до последнего слова.

— Я так вам благодарен! Снова обрести человеческое участие, внимание к себе и своим делам, ласковый голос, добрый взгляд — после всего, что я пережил здесь! Господи! Да ради этого я готов на колени стать!

Он крепко пожал мне руку, оживился и после этого воспрянул духом и был готов приступить к обеду, который так и не состоялся. Да, случилась обычная вещь, — случилось то, что всегда случается при никуда не годных и раздражающих английских порядках: никак нельзя было установить, кто за кем идет по рангу, и потому обед не состоялся. Англичане всегда наедаются дома, перед тем как ехать на обед, потому что знают, какому подвергаются риску; а нового человека никто не потрудится предупредить, и он преспокойно идет и попадает впросак. Разумеется, никто на этот раз не пострадал, все мы пообедали заранее, потому что новичков среди нас не было, кроме Гастингса, которого предупредил посланник и, приглашая на обед, сказал, что из уважения к английским обычаям обеда у него не готовили. Каждый взял под руку даму, и мы торжественно проследовали в столовую, потому что ритуал все-таки полагается выполнить, но тут-то и начались разногласия. Герцог Файф-о-Клок желал идти в первой паре и сидеть во главе стола, считая, что он по рангу старше посланника, который представляет только народ, а не коронованную особу. Я

тоже выставил свою кандидатуру. В столбце светской хроники я стоял выше всех герцогов некоролевской крови, — я так и сказал и потребовал, чтобы меня посадили выше герцога. Мы никак не могли найти выхода, сколько ни бились; наконец герцог решил (и очень неосмотрительно) сыграть на своем происхождении и древности рода, а я сбросил Вильгельма Завоевателя и козырнул Адамом, от которого происхожу по прямой линии, что явствует из моей фамилии; а он — по боковой, что явствует из его фамилии, да и от норманнов он произошел совсем недавно. Так что все мы торжественно проследовали обратно в гостиную и, как водится, закусили стоя; подается блюдо сардинок, клубника, все становятся в круг и едят. Здесь культ местничества не так обременителен; две особы высшего ранга бросают монету, и тот, кто выиграет, первым съедает клубнику, а тому, кто проиграет, достается монета. Потом вторая пара бросает монету, потом третья и так далее. После закуски внесли столы, и все мы уселись играть в криббедж, по шести пенсов партия. Англичане никогда не играют ради развлечения. Если нельзя выиграть или проиграть — не важно, что именно, — они совсем не сядут за карты.

Мы прекрасно провели время, особенно я и мисс Лэнгем. Я был так ею очарован, что то и дело сбивался со счета и непременно проигрывал бы каждую партию, если бы мисс Лэнгем не вела себя совершенно так же, как и я: она была в таком же состоянии, поэтому ни один из нас не выходил из игры и нисколько не беспокоился об этом; мы знали только, что мы счастливы, и не хотели, чтобы нам кто-нибудь мешал. И я признался ей — да, признался! —

сказал, что я ее люблю, а она — она покраснела до корней волос, но была этому рада, она сама так сказала. Я не помню другого такого вечера! Каждый раз, считая взятки, я писал ей что-нибудь; каждый раз, как она считала взятки, она отвечала мне. Я не мог сказать: «Записываю две!», чтобы не прибавить: «Боже, как вы прелестны!» А она отвечала: «Пять и две, семь. Вы так думаете?» — и поглядывала на меня из-под ресниц так мило и лукаво. О, это было восхитительно!

Я был с ней совершенно откровенен и прям, сказав, что у меня нет ни цента, кроме билета в миллион фунтов, о котором она столько слышала, да и тот не мой, и это возбудило ее любопытство, потом я понизил голос и рассказал ей всю историю с самого начала, и она чуть не умерла со смеха. Что, собственно, она нашла в этом смешного, я так и не мог понять, однако нашла же: каждые полминуты какая-нибудь новая подробность вызывала у нее смех, и мне приходилось останавливаться минуты на полторы, чтобы дать ей прийти в себя. Она смеялась до потери сознания. Право, я никогда ничего подобного не видывал. Я хочу сказать: не видывал, чтобы такой грустный рассказ, рассказ о злоключениях, заботах и тревогах производил такого рода впечатление. И я полюбил ее еще больше за то, что она умела веселиться, когда ровно ничего веселого не было: мне очень скоро могла понадобиться именно такая жена, знаете ли, это по всему было видно. Разумеется, я сказал ей, что нам придется подождать года два, пока я не начну получать жалованье, но она ничего не имела против, только просила меня быть как можно экономнее в расходах и не рисковать нашим жалованьем

за третий год. Потом она немного огорчилась и выразила сомнение, не ошибаемся ли мы, — может быть, в первый год мне не назначат такого большого жалованья? Это было благоразумно и пошатнуло мою прежнюю уверенность, зато навело меня на дельную мысль, и я откровенно высказал ее:

— Милая Порция, не согласитесь ли вы пойти вместе со мной в тот день, когда я должен буду встретиться с этими джентльменами?

Она слегка поморщилась, но сказала:

— Д-да, если мое присутствие вам придаст бодрости. Но будет ли это удобно, как вы думаете?

— Не знаю, право, будет ли это удобно, — боюсь, что нет, — но вы знаете, от этого так много зависит, что...

— Ну, тогда я пойду во всяком случае — удобно это или неудобно, — сказала она в прекрасном порыве великодушия. — Мне так приятно думать, что я могу помочь вам!

— Помочь, милая? Да ведь все зависит от вас. Вы такая красивая, такая прелестная, такая очаровательная, что, если вы пойдете со мной, я буду настаивать, чтобы нам дали самое большое жалованье, и непременно уломаю этих милых старичков, у них не хватит духу сопротивляться!

Если бы вы видели, как прелестно она покраснела, как заблестели счастьем ее глаза!

— Ах вы гадкий льстец! В том, что вы говорите, нет ни слова правды, но я все-таки пойду с вами. Может быть, после этого вы поймете, что не все смотрят вашими глазами.

Рассеялись ли после этого мои сомнения? Вернулась ли уверенность в себе? Можете судить сами: мысленно я немедленно повысил себе жалованье до тысячи двухсот на первый год. Но ей я этого не сказал, а приберег в виде сюрприза.

Всю дорогу домой я летел как на крыльях. Гастингс что-то говорил, но я не слышал ни слова. Когда мы с ним вошли в мой кабинет, он привел меня в чувство, горячо восхищаясь окружавшим меня комфортом и роскошью.

— Позвольте мне постоять здесь немножко и наглядеться досыта. Боже мой! Да это дворец — настоящий дворец! Ведь тут есть все, чего только душа ни пожелает: и веселый огонь в камине, и ужин наготове. Генри, вот теперь я не только понимаю, что вы богаты, а я беден, — я всем своим телом, всем своим существом чувствую, что я беден, что я несчастен, уничтожен, разбит наголову, погиб безвозвратно!

О, черт побери! От таких речей во мне ожили прежние страхи. Я сразу отрезвился и понял, что стою на вулкане и подо мной корка лавы толщиной не более полдюйма. Я не сознавал, что сплю, то есть до поры до времени не позволял себе в этом сознаться, а теперь — о боже!.. По уши в долгу, без гроша в кармане, и милая девушка на руках, — от меня зависит сделать ее счастливой или несчастной, — а впереди ничего, кроме жалованья, которое, может быть, — и даже наверное, — навсегда останется мечтой! О, о, о! Я погиб без возврата, меня уже ничто не спасет!

— Генри, самые ничтожные крохи вашего ежедневного дохода могли бы...

— Ох, мой ежедневный доход! Вот вам стакан горячего грога, сядьте, выпейте и развеселитесь! За ваше здоровье! Ах нет, вы, может быть, хотите есть? Сядьте и...

— Нет, какая там еда, мне не до того. Вот уже сколько дней я не могу есть. А пить с вами я готов, пока не свалюсь.

— Вы готовы? Что ж, выпьем! А теперь, Ллойд, выкладывайте вашу историю, пока я приготовлю еще по стаканчику.

— Выкладывать? Как, еще раз?

— Еще раз? Что вы хотите этим сказать?

— Вы хотите слушать все сначала?

— То есть как сначала? Это какая-то загадка. Подождите, не пейте больше этой дряни. Не надо.

— Послушайте, Генри, вы меня пугаете. Разве я не рассказал вам всю историю по дороге сюда?

— Вы?

— Ну да, я.

— Пусть меня повесят, если я слышал хоть слово.

— Генри, это очень серьезно. Я за вас беспокоюсь. Что там такое вышло у посланника?

Тут меня сразу осенило, и я сознался во всем, как подобает мужчине:

— Я познакомился с самой прелестной девушкой в мире и покорил ее сердце!

Он бросился ко мне, и мы долго, долго жали друг другу руки, до боли в пальцах, и он не осудил меня за то, что я не слышал ни слова из рассказа, которого хватило на целых три мили, пока мы не дошли до дома. Терпеливый и добрый малый, он просто-напросто сел и рассказал мне

все снова. Вкратце его рассказ сводился к следующему: он приехал в Англию с коммерческим планом, который, по его мнению, сулил чудеса; у него было полномочие продать рудники Гулда и Кэрри и оставить себе все, что удастся получить сверх миллиона долларов. Он работал не покладая рук и, нажимая все кнопки, испробовал все дозволенные законом средства, истратил почти все свои деньги и все-таки не мог заставить ни одного капиталиста хотя бы выслушать себя, а срок его полномочий истекал в конце месяца. Словом, он был разорен. И тут он вскочил и воскликнул:

— Генри, вы можете меня спасти! Вы можете спасти меня — вы, и только вы один в целом мире! Хотите вы это сделать? Сделаете вы это?

— Скажите, как это сделать. Говорите, мой милый.

— Дайте мне миллион за эти рудники и купите для меня обратный билет! Ради бога, не отказывайте мне!

Я терзался, не зная, что делать. Я уже готов был выпалить: «Ллойд, я сам нищий, без единого гроша в кармане, да еще кругом в долгу!» Но тут меня осенила гениальная мысль, я опомнился, стиснул зубы и стал холоден и рассудителен, как капиталист. Потом я сказал деловитым и сдержанным тоном:

— Я спасу вас, Ллойд...

— Тогда я уже спасен! Бог да благословит вас навеки! Если я когда-нибудь...

— Дайте мне кончить, Ллойд. Я спасу вас, но не этим путем: это было бы несправедливо по отношению к вам — вы столько работали, подвергались такому риску. Мне не нужны рудники. В таком коммерческом центре, как Лон-

дон, можно и без этого пустить капитал в обращение, я так и делаю. Но вот что я вам предложу. Я, конечно, знаю этот рудник, знаю, что он стоит больших денег, и могу это клятвенно подтвердить всякому желающему. Не пройдет и двух недель, как вы продадите его за три миллиона наличными, пользуясь моим именем, и мы с вами поделимся поровну.

Вы знаете, он чуть не разнес всю мебель в щепки, пустившись в пляс от неистовой радости, и переломал бы все в доме, если б я не дал ему подножку и не связал его.

Он лежал безгранично счастливый и говорил:

— Вы разрешаете мне пользоваться вашим именем! Вашим именем — подумать только! Милый мой, да они налетят стаей, эти лондонские богачи, они передерутся из-за этих акций! Теперь моя карьера обеспечена, обеспечена навсегда, и я не забуду вас до самой смерти.

Не прошло двадцати четырех часов, и весь Лондон загудел, как улей! День за днем я только и делал, что сидел дома и говорил всем посетителям:

— Да, я просил его ссылаться на меня. Я знаю его и знаю этот рудник. Репутация Гастингса вне всяких подозрений, а рудник стоит гораздо больше того, что он просит.

Тем временем все вечера я проводил у посланника с Порцией. Я ни слова не сказал ей о руднике, я приберегал это как сюрприз. Мы не говорили ни о чем другом, кроме как о жалованье и о любви, — иногда о любви, иногда о жалованье, иногда о любви и о жалованье вместе. И боже мой! Какое участие принимали в наших делах жена и дочь посланника, на какие хитрости они пускались, чтобы нам

никто не мешал и чтобы посланник ничего не заподозрил, — с их стороны это было просто чудесно!

К концу месяца у меня лежал миллион долларов в Лондонском банке, и Гастингс был обеспечен не хуже. Надев самый лучший костюм, я проехал мимо дома на Портленд-плейс и по внешнему виду сделал заключение, что птицы уже прилетели. Потом отправился к посланнику за моим сокровищем, и мы вместе поехали обратно, без умолку разговаривая о жалованье. Она так волновалась и тревожилась, что выглядела поразительно красивой. Я сказал:

— Милая, вы сейчас так красивы, что было бы преступлением просить меньше трех тысяч в год.

— Генри, Генри, вы нас обоих погубите!

— Не бойтесь. Будьте только так же красивы, как теперь, и положитесь на меня. Все кончится хорошо.

Вышло так, что мне же пришлось поддерживать в ней бодрость всю дорогу. Она спорила со мной и говорила:

— Не забудьте, пожалуйста, что, если мы будем просить слишком много, нам, может быть, совсем ничего не дадут; и что тогда с нами будет, если мы останемся совсем без средств и без заработка?

Нас впустил все тот же слуга; и оба они оказались тут как тут, наши пожилые джентльмены. Разумеется, они удивились, когда увидели, что со мной такое прелестное создание, но я сказал:

— Ничего, господа, это моя будущая супруга и помощница.

И я представил их и назвал по имени. Это их не удивило, они понимали, что у меня хватит смекалки загля-

нуть в справочник. Они усадили нас, были очень любезны со мной и, насколько могли, старались, чтобы Порция перестала смущаться и чувствовала себя как дома. И тут я сказал:

— Джентльмены, я готов дать вам отчет.

— Мы рады будем вас выслушать, — сказал мой джентльмен, — потому что теперь мы можем решить спор между братом Абелем и мной. Если вы выиграли для меня пари, вы получите любую должность, какая есть в моем распоряжении. Билет в миллион фунтов с вами?

— Вот он, сэр, — и я отдал ему билет.

— Я выиграл! — воскликнул он и хлопнул Абеля по спине. — Ну, что ты теперь скажешь, брат?

— Скажу, что он жив, а я проиграл двадцать тысяч фунтов. Никогда бы этому не поверил.

— Мой отчет еще не кончен, — сказал я, — и рассказывать придется долго. Разрешите мне навестить вас на днях и рассказать подробно всю историю этого месяца; ручаюсь, что ее стоит послушать. А пока взгляните вот на это.

— Что такое! Счет в банке на двести тысяч фунтов! Неужели они ваши?

— Мои. Я их заработал в тридцать дней, осмотрительно пользуясь небольшой ссудой, которую получил от вас. Я ничего не делал, только покупал разные пустяки и просил разменять билет.

— Ну, это поразительно! Просто невероятно, мой милый!

— Не беспокойтесь, у меня есть доказательства. Не принимайте моих слов на веру.

Теперь пришел черед Порции удивляться. Широко раскрыв глаза, она сказала:

— Генри, это в самом деле ваши деньги? Значит, вы мне сказали неправду?

— Да, милая, сказал. Но ведь вы меня простите, я знаю.

Она капризно надула губки и сказала:

— Не будьте так самоуверенны. Вам не следовало обманывать меня.

— О, вы должны простить меня, дорогая, должны примириться: ведь это была шутка, вы же понимаете. Ну, а теперь нам пора.

— Подождите, подождите! А как же вакансия? Ведь я хотел дать вам место, — сказал мой джентльмен.

— Ну, — сказал я, — я вам как нельзя более благодарен, но мне, право, не нужно никакого места.

— Но вы можете получить самое лучшее, какое имеется в моем распоряжении!

— Еще раз благодарю от всего сердца, но мне, пожалуй, даже и такого не нужно.

— Генри, как вам не стыдно? Вы плохо благодарите этого доброго джентльмена. Можно, я поблагодарю за вас?

— Ну конечно, милая, если вы можете сделать это лучше. Посмотрим, как у вас это получится.

Она подошла к моему джентльмену, села к нему на колени, обняла его и поцеловала прямо в губы. Оба пожилых джентльмена расхохотались во все горло, а я так и застыл на месте, просто окаменел, можно сказать.

Порция сказала:

— Папа, он говорит, что в твоем распоряжении нет такого места, какое он принял бы, и я обижена не меньше, чем...

— Дорогая моя, неужели это ваш папа?

— Да, это мой отчим, и самый милый, какой только может быть. Теперь вы понимаете, почему я так смеялась, когда вы мне рассказывали у посланника, каких хлопот и огорчений наделал вам план дяди Абеля и папы?

Разумеется, тут уже я не стал молчать и высказался напрямик, без всяких околичностей:

— О, простите меня, дорогой сэр, я беру свои слова обратно. У вас имеется свободная вакансия, которую я хотел бы занять.

— Какая же это?

— Вакансия зятя.

— Ну, ну, ну! Но, знаете ли, вы никогда еще не занимали этой должности и, конечно, не сможете представить рекомендаций, которые удовлетворяли бы условиям нашего договора, а потому...

— Испытайте меня, о пожалуйста, прошу вас! Только испытайте в течение каких-либо тридцати — сорока лет, и тогда...

— Что же, хорошо, если так, — берите ее.

Были ли мы оба счастливы? В самом полном словаре не найдется довольно слов, чтобы описать наше счастье. А когда через день-другой мои приключения с банковым билетом и счастливая развязка стали всеобщим достоянием, не говорил ли об этом весь Лондон и не смеялся ли? Да, еще бы.

Папа моей Порции отвез счастливый билет обратно в

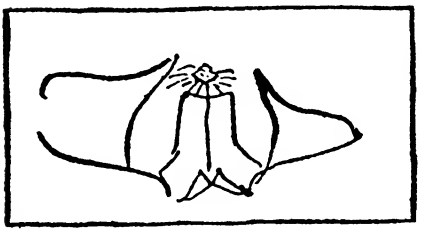
Английский банк и разменял, потом банк погасил его и опять преподнес владельцу, а он подарил нам этот билет в день свадьбы, и с тех пор он висит в рамке на самом почетном месте в нашем доме, за то что он дал мне мою Порцию. Если бы не он, я не остался бы в Лондоне, не попал бы к посланнику и никогда бы с ней не встретился, и потому я всегда говорю:

— Да, это билет в миллион фунтов, как видите. И за всю его жизнь на него была сделана одна покупка, зато такая, которая стоит вдесятеро дороже этой суммы!

НАСТАВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКАМ

Если работаешь одновременно над целой галереей портретов, больше всего неприятностей случается из-за горничной, которая приходит в студию, вытирает с полотен пыль и забывает ставить их на место, так что когда собираются посетители и просят показать им Гоуэлса, Депью или еще кого-нибудь, приходится кривить душой, а это на первых порах весьма неприятно. К счастью, вы знаете наверняка; что и Депью и Гоуэлс у вас имеются; это придает вам храбрости, и вы говорите твердо: «Вот Гоуэлс», а сами украдкой наблюдаете за гостем. Если прочтете в его глазах недоумение, тут же поправьте себя и предложите ему другой портрет. В конце концов вы найдете настоящего Гоуэлса, и вам сразу станет неизъяснимо легко и радостно; но помните, что страдания ваши перед тем будут велики, а радость кратковременна, ибо следую-

Голова на одном холсте



Бюст на другом

щий посетитель остановится на Гоуэлсе, не имеющем ничего общего с первым и похожем скорее на Эдуарда VII или на Кромвеля, за коих вы его сперва и принимали, хотя, конечно, помалкивали об этом. Лучше всего, начиная портрет, прилепить к нему ярлычок с фамилией, это избавит вас от сомнений и позволит даже заключать пари с публикой без риска проиграть.

Но больше всего хлопот мне доставил портрет, который я писал частями, голову на одном холсте, бюст на другом.

Горничная поставила полотно с бюстом набок, и теперь я никак не могу определить, где у него верх, а где низ. Одни — а среди них имеются знатоки своего дела — говорят, что нижний холст надо приставить к верхнему так, чтобы под подбородком мужчины оказалась булавка для галстука, другие советуют поместить туда воротничок, причем один из сторонников второй точки зрения аргументировал ее следующим образом: «Булавку для галстука можно носить и на животе, если уж так нравится, а вот воротничок — черта с два, не нацепишь куда попало». Что ж, ему, конечно, в здравом смысле отказать нельзя. А вопрос и по сей день не решен. Когда я прикладываю булавку к подбородку, получается очень хорошо; когда я поворачиваю холст воротничком вверх, опять выходит недурно; одним словом, как ни верти, все получается естественно, и линии совпадают точно; булавка на животе — лицо довольное и счастливое, как будто ничего иного ему и не требуется; воротничок на животе — опять то же счастливое выражение; правда, справедливости ради надо заметить, что, когда я вовсе убираю бюст, выражение радости и удовлетворения не исчезает; удивительное, в самом деле, лицо, какое постоянство выражения, несмотря на все превратности судьбы! Никак не могу вспомнить, кто это такой. Пожалуй, есть что-то общее с Вашингтоном. Только вряд ли это Вашингтон, у него было два уха. Всегда можно узнать Вашингтона по этому признаку. В отношении ушей он был большой педант и терпеть не мог всяческих новшеств.

Со временем я, конечно, справлюсь со всей этой путаницей, и тогда все пойдет как надо; некоторая неразбери-

Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: — это Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Депью

ха естественна поначалу, ее не избежишь. Слава пришла ко мне неожиданно, свалилась как снег на голову; это произошло, когда я опубликовал свой автопортрет; и, признаюсь, голова у меня слегка закружилась, — да и как

иначе: такого еще свет не видывал. В один только день шестьдесят два человека обратились ко мне с просьбой не писать их портретов, а среди них были самые выдающиеся люди страны: президент, министры в полном составе, писатели, губернаторы, адмиралы, претенденты на руководящие посты от оппозиционной партии, — словом, все, кто был хоть чем-нибудь; это широкое признание, эта всеобщая любовь вскружили бы голову каждому, кто делает первые шаги в искусстве. Сейчас я мало-помалу прихожу в себя и снова взялся за кисть; надеюсь, что в самое ближайшее время смятение чувств уляжется и тогда я буду творить свои произведения рукой точной и уверенной, смогу в мгновенье ока отличать одно лицо от другого и находить без промедления нужный мне портрет среди десятка других.

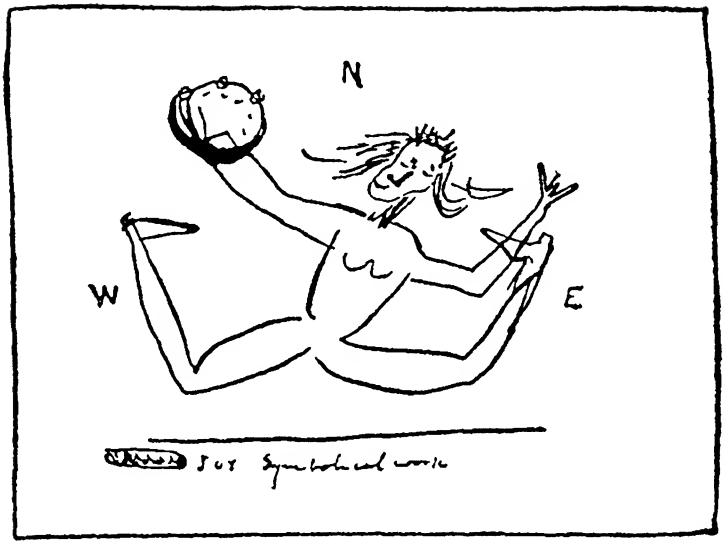
Я живу новой, необыкновенной, возвышенной жизнью; я испытываю священный трепет всякий раз, когда вижу, как под моей кистью рождаются и оживают черты. Сперва я делаю этюд — первая наметка и только несколько небрежно брошенных линий; взглянув на них, вы ни за что не догадаетесь, кого я пишу, да я и сам не могу точно сказать этого. Вот возьмите к примеру хотя бы этот холст. Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: это — Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Депью. Вы готовы побиться об заклад, что Депью из этого никогда не получится, но когда моя кисть последний раз коснется холста, с портрета на вас глянет Депью как живой, и тогда вы скажете: «Черт возьми, а ведь это и вправду не кто иной, как Депью!»

Другие художники, вероятно, нарисовали бы его говорящим, но ведь и ему нужно иногда помолчать и подумать.

Это станковая живопись, как говорим мы, художники, на своем профессиональном жаргоне, она отличается от росписи изразцов и от других отраслей искусства во многом, главным же образом техническими приемами; что это за приемы, вы все равно не поймете, даже если я и попытаюсь вам их объяснить. Но из моего рассказа вы начнете уразумевать кое-что и полегонечку, не спеша, постигнете все самое важное в живописи, даже не заметив, как это произошло, не затратив при этом ни сил, ни труда; вы научитесь с первого взгляда определять, к какой школе принадлежит то или иное полотно, сможете отличить пейзаж от картины художника-анималиста. И тогда-то вы испытаете ту высокую радость, которую доставляет искусство.

Когда мы с вами дойдем до портрета Джо Джефферсона и других моих работ, ваш глаз будет уже наметан, и вы сразу увидите, что все они выполнены в самых разнообразных манерах. Этот раздел я хотел бы закончить разбором полотна, изображающего обнаженное тело.

Эта моя работа отличается от всех остальных. Сюжеты других картин взяты из живой природы, это — неживая природа, то есть натюрморт; называется он так потому, что изображает мечту, нечто, не имеющее действительного и деятельного существования. Задача натюрморта — сделать осязаемым то духовное, таинственное, неуловимое начало, присутствие которого мы постоян-



В правой руке — не сковородка, а тамбурин

но ощущаем, но которое не умеем постичь нашим плотским зрением, например — радость, горе, обиду и т. п. Наилучшим образом это достигается при помощи особого метода, который на языке художников зовется импрессионизмом. Представленная вашему вниманию картина — произведение импрессионистическое, написанное темперой, проблема светотени решена оригинально, в плане одноцветности, все вместе создает особую изысканность чувства и благородство выражения. В первую минуту может показаться, что картина принадлежит кисти Боттичелли, но это не так, это всего лишь

робкое подражание великому Сандро Боттичелли, мастеру удлиненных, утоньшенных фигур и пленительно округлых форм.

Сюжет взят из греческой мифологии, на картине изображена не то Персефона, не то Персеполь, не то еще какая-то вакханка, совершающая торжественный обряд встречи перед алтарем Изиды по случаю прибытия корабля с афинскими юношами, посылаемыми ежегодно на остров Минос для принесения в жертву Дордонским циклопам.

Фигура символизирует торжественную радость. Она написана в строгом греческом стиле, а посему ей не требуются драпировки и прочие украшательства, художественная выразительность достигается единственно грацией движений и симметричностью контура. Смотреть ее надо с юга или, еще лучше, с юго-востока; правда, взглянув на нее с севера или с востока, вы полнее и глубже ощутите радость, запечатленную на полотне, но зато черты лица сместятся в ракурсе, и покажется, будто их изъели черви. Обратите внимание — в правой руке она держит не сковородку, а тамбурин.

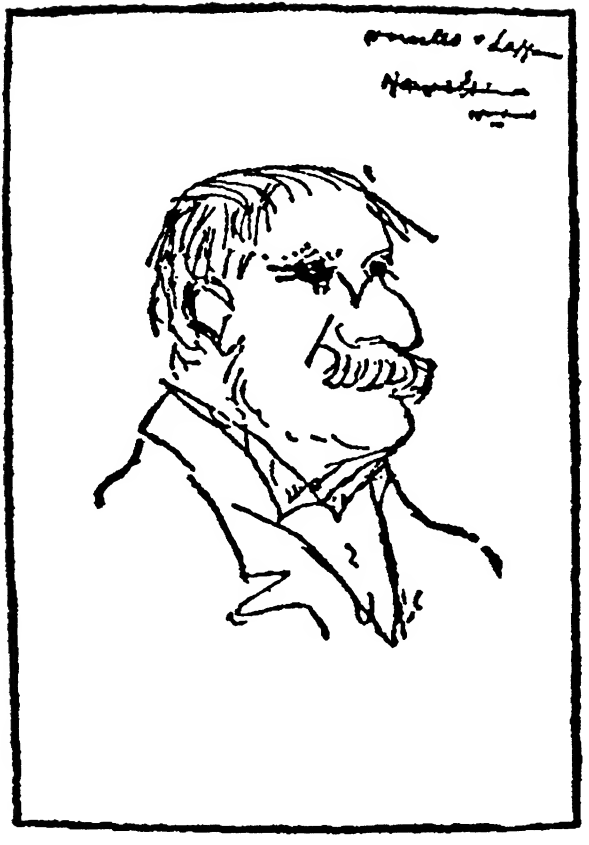
Этот холст будет выставлен в Парижском салоне в июне месяце на соискание Римской премии.

Теперь взгляните, пожалуйста, сюда. Это морской пейзаж, картина, очень полезная для ознакомления с такими важными сторонами художественного мастерства, как перспектива и ракурс. Эти прыгающие волны, похожие на горные цепи, на переднем плане в сопоставлении с безмятежным парусом по ту сторону удочки, который вот-вот скроется из глаз и растает, как во

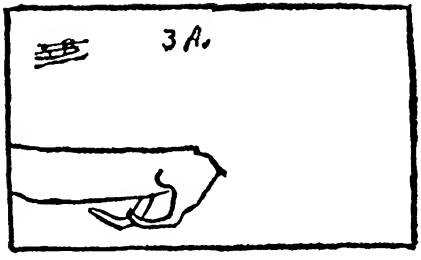
На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон, друг человечества

сне, дают ощущение пространства и расстояния, не поддающееся передаче бедным человеческим языком. Вот какие чудеса творит на наших глазах волшебница-перспектива!

На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон, друг человечества. Он ловит рыбу, но еще ничего не поймал. Это видно по влажному блеску глаз и горестному



Не то мистер Гоуэлс, не то мистер Лаффан. Затрудняюсь сказать точно, потому что ярлычок с фамилией затерялся



Я не успел нарисовать голову:
когда черед дошел до нее, она скрылась
за поворотом

выражению рта. Губы плотно сжаты, чтобы не вырвалось невзначай крепкое словцо. Удилище бамбуковое, леска дана в ракурсе. Это изменение длины лески, а также невозмутимость водной поверхности вдали, где лежит поплавок, рождает мощное ощущение пространства и является еще одним средством для верного решения перспективы.

Перейдем теперь вот к этому портрету, на нем изображен не то мистер Гоуэлс, не то мистер Лаффан. Затрудняюсь сказать точно, кто из них, потому что ярлычок с фамилией затерялся. Но вполне может быть и тот и другой, потому что чертами лица портрет напоминает Гоуэлса, а выражением Лаффана. Эта работа бесспорно заслуживает внимания критики.

На следующем холсте изображено животное, какое — сказать не могу, потому что не знаю. Как видите — здесь только часть его. Я не успел нарисовать голову: когда черед дошел до нее, она скрылась за поворотом.

В заключение остановимся на портрете женщины

в стиле Рафаэля. Сперва я стал было писать королеву Елизавету, но не сумел передать кружева ее высокого воротника, из которого вырастала голова Елизаветы; тогда я решил переделать королеву в индейскую принцессу Покахонтас, и опять не вышло. Но я не растерялся и, внеся уверенной рукой кое-какие изменения и поправки, добился наконец выдающегося успеха. Я запечатлел на холсте нашу почтенную прародительницу, сообщив одухотворенность чертам ее лица и выразив в них ту чистую радость, какую испытала она, когда в первый раз в жизни надела платье, сшитое по такому случаю на заказ; и я с гордостью могу сказать, что моя портретная галерея обогатилась самым лучшим, самым покоряющим, самым выразительным произведением из всех, какие когда-либо были мною созданы.

Но где же тот источник, который питает талант начинающего художника, который придает крепость его кисти? Этот источник в нем самом. Неотрывно, взыскательным оком следите за своим собственным развитием. Сохраняйте все ваши полотна, рисунки, этюды; не забывайте проставлять на них число и год их создания; по прошествии лет не раз возвращайтесь к ним. Они покажут вам, сколь многого вы достигли, как далеко продвинулись. Это вдохновит вас, возбудит в душе сладостное волнение, укрепит веру в свои силы, как ничто иное.

Так всегда поступаю я; своими успехами в живописи я обязан именно этому.

Самое лучшее, самое покоряющее,
самое выразительное из всех
моих произведений

Когда я оглядываюсь на пройденный путь и сравниваю свое первое творение с последним, мне не верится, что за тридцать лет можно так развить свой талант. А между тем это факт. Практика, постоянная практика — вот в чем залог успеха. Каждый день от трех до семи часов за мольбертом — это все, что требуется. И результаты будут поразительные. Помните, лень никогда не создавала ничего великого.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

На свете не так уж много людей, которым что-либо говорит имя Сэмюэла Ленгхорна Клеменса. И в то же время трудно найти человека, который не прочел бы ни одной книги знаменитого американского писателя Марка Твена. Всем знакомы его герои — самоуверенный янки из Коннектикута, сумевший посрамить великого чародея Мерлина, неунывающий Том Сойер и не слишком образованный, но находчивый и всегда готовый прийти на помощь друзьям Гекльберри Финн.

Сэмюэл Ленгхорн Клеменс родился в небольшом городке Флорида, штат Миссури, в 1835 году, до потрясшей Америку гражданской войны. Время становления американской нации и государственности совпало с его возмужанием. Человек, которому суждено было прославить своими книгами Америку и войти в историю под псевдонимом Марк Твен, был свидетелем и участником множества важных — и не очень — событий, и все они так или иначе нашли отражение в его творчестве. Он был своим как в суровых западных землях, так и в рафинированных гостиных на востоке страны, и биография его выглядит крайне богатой даже по сравнению с биографиями многих не менее знаменитых современников.

Итак, он родился в городке Флорида. Отец будущего писателя, выходец из Виргинии, был уважаемым в городе тор-

говцем и принимал участие в заседаниях местного суда. Мистер Клеменс по тем временам мог считаться вольнодумцем: особого религиозного рвения в нем не наблюдалось. Но воспитанием маленького Сэмюэля в основном занималась мать. Она, в отличие от мужа, которого, не слишком погрешив против истины, можно назвать агностиком, была набожна и никогда не забывала о своем происхождении: ее предки были одними из первых поселенцев Кентукки, последовавших за Дэниелом Буном. Сына она стремилась держать в строгости, как истинная пресвитерианка. Результат оказался не совсем таким, как ей хотелось бы: в мировоззрении Твена причудливо перемешались непреклонная религиозность матери и атеизм отца.

В 1839 году семья переехала в другой городишко в том же штате Миссури — даже по тогдашним американским меркам городок, насчитывавший не более 500 жителей, солидным городом считаться не мог. Зато название он носил гордое — Ганнибал и располагался в красивой местности на западном берегу Миссисипи. Твен всегда очень тепло вспоминал о местах, где прошло его детство, и считал, что подобное место жительства являлось «раем для мальчишки». Наверное, это было действительно так — не зря же маленький, ничем не примечательный городок стал мощным источником вдохновения для одного из знаменитейших писателей Америки, и именно в таком (или, по крайней мере, очень похожем) месте он поселил своих любимых героев — Тома и Гекльберри.

В двенадцать лет счастливое детство Сэмюэля Клеменса закончилось: он окончил школу и стал учеником наборщика. Благодаря случайно попавшей к нему в руки книжке о подвигах Жанны д'Арк он пристрастился к чтению, а затем — что вполне закономерно — и сам стал пробовать перо, начав писать юмористические очерки для местной газеты.

Но вскоре маленький городок стал тесен — и будущий Марк Твен в 1853 году уехал в Нью-Йорк, потом перебрался в Филадельфию, затем решил добраться до Амазонки. К 1857 году он проплыл вниз по реке до Нового Орлеана, но тут некогда вожделенная Амазонка перестала привлекать его (по-видимому, долгое путешествие по воде натолкнуло на мысль, что, в конечном итоге, все реки одинаковы и каждая по-своему хороша). Сэмюэль стал лоцманом на пароходе, но конец карьере молодого лоцмана положила разразившаяся вскоре гражданская война. Естественно, всеобщий патриотический энтузиазм захлестнул и его: под влиянием порыва юноша присоединился к отряду ополчения конфедератов, который вскоре распался, а затем резко «сменил убеждения» и отправился вместе с братом Орионом, приверженцем юнионистов-северян, на Запад, в Неваду, где Орион был назначен на пост секретаря губернатора. На Западе, в городе Виргиния, Сэмюэль Клеменс работал журналистом в городской газете. Журналистская работа при его страсти к путешествиям оказалась необременительна — он побывал и в Сан-Франциско, и на Сандвичевых островах. В 1865 году был опубликован первый заметный рассказ будущей знаменитости — «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», а через два года увидел свет и первый сборник юмористических очерков. Так что писатель Марк Твен родился только в 1867 году...

В 1871 году, будучи уже достаточно известным писателем, он женился на дочери богатого дельца Оливии Лэнгдон и поселился с нею в Хартфорде, штат Коннектикут. Жена писателя была инвалидом. Личная жизнь Твена может служить доказательством сразу двух избитых истин: и той, что многие мужчины женятся на женщинах, похожих на своих матерей, и той, что жизнь большинства профессиональных юмористов веселой назвать никак нельзя... Жена, как и мать писателя, была особой

очень консервативной и набожной и пыталась влиять на творчество Твена. Благодаря ей он отказался от очерков в пользу более «доходной» литературной формы — романа. Первый сатирический роман («Позолоченный век») был написан в соавторстве с Чарльзом Дадни Уорнером. Но славу Твену принес, конечно же, не он, а всем известные «Том Сойер» (1876), «Жизнь на Миссисипи» (1883), «Приключения Гекльберри Финна» (1885) и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).

Чем дальше, тем меньше в романах Твена бесшабашного юмора, и больше — мрачной сатиры, проникнутой осознанием абсурдности жизни. К неизлечимой болезни жены добавились новые несчастья: смерть одной дочери и страшный недуг второй — выяснилось, что девочка больна эпилепсией. Твен оказался в долгах, и писательский труд стал для него тяжкой повинностью, нацеленной прежде всего на зарабатывание денег. Тем не менее жизнь писателя оказалась долгой — скончался он в 1910 году, — а слава и вовсе бессмертной. Причем, что бывает достаточно редко, должное его таланту отдали как современники (Уильям Дин Хоуэллс, американский писатель и издатель, называл Марка Твена «Линкольном литературы»), так и потомки. Наверное, нельзя не признать, что Хемингуэй, заявивший, что «своим рождением вся американская литература обязана «Приключениям Гекльберри Финна», был совершенно прав.

И. Сабинина

СОДЕРЖАНИЕ

Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса. *Перевод Н. Дарузес* 5
Рассказ о дурном мальчике. *Перевод М. Абкиной* 13
Среди духов. *Перевод А. Старцева* 18
Людоедство в поезде. *Перевод М. Литвиновой* 26
Журналистика в Теннеси. *Перевод Н. Дарузес* 40
Венера Капитолийская. *Перевод Н. Дарузес* 49
Прогулки по Риму (из «Простаков за границей»). *Перевод М. Гуровой* 57
Воспоминание. *Перевод А. Старцева* 80
Как я редактировал сельскохозяйственную газету. *Перевод Н. Дарузес* 85
Подлинная история великого говяжьего контракта. *Перевод А. Старцева* 93
Рассказ о хорошем мальчике. *Перевод М. Абкиной* 103
Мои часы. *Перевод Н. Дарузес* 110
Средневековый роман. *Перевод Н. Емельянниковой* 115
Как меня выбирали в губернаторы. *Перевод Н. Треневой* 125
Наука или удача. *Перевод А. Старцева* 132
Моя автобиография. *Перевод А. Старцева* 135
Моя первая беседа с Артимесом Уордом. *Перевод А. Старцева* 143
Как меня провели в Ньюарке. *Перевод Н. Дарузес* 147
Дик Бейкер и его кот. *Перевод А. Старцева* 149
Разговор с интервьюером. *Перевод Н. Дарузес* 153
Мак-Вильямсы и круп. *Перевод Н. Дарузес* 159
Режьте, братцы, режьте. *Перевод Н. Дарузес* 168

Рассказы о великодушных поступках. *Перевод Н. Дарузес* ... 176
Укрощение велосипеда. *Перевод Н. Дарузес* 186
Миссис Мак-Вильямс и молния. *Перевод Н. Дарузес* 197
Похищение белого слона. *Перевод Н. Волжиной* 207
Мак-Вильямсы и автоматическая сигнализация от воров. *Перевод А. Старцева* 238
Письмо ангела-хранителя. *Перевод А. Старцева* 248
Дневник Адама. *Перевод Т. Озерской* 256
Дневник Евы. *Перевод Т. Озерской* 273
Банковый билет в 1 000 000 фунтов стерлингов. *Перевод Н. Дарузес* 300
Наставление художникам. *Перевод Т. Литвиновой* 330

И. Сабинина. Смех сквозь слезы 344

Твен Марк

РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ

Сборник рассказов

Ответственный за выпуск *И. Воробьева*

Художественный редактор *Р. Клочков*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *Л. Марченко*

Лицензия ЛР № 070099 от 03.09.96.

Сдано в набор 10.07.2000. Подписано в печать 02.10.2000.
Формат 70×108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,4. Тираж 5000 экз.
Изд. № 00-1004-ИК. Заказ № 3272.

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
129075 Москва, Звездный бульвар, 23

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС» представляет

Серия «ИМЕНА. КЛАССИКА»

самые замечательные, самые захватывающие,
самые веселые произведения писателей,
чьи имена знакомы нам с детства

остроумный, ироничный

Джером Клапка Джером
ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

зажигательный, динамичный

Бертольт Брехт
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА

беззаботный, легкомысленный

Мартти Ларни
ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЗВОНОК, ИЛИ МОШЕННИК ПОНЕВОЛЕ

интеллектуальный, многогранный

Джек Лондон
СМОК БЕЛЛЬЮ

впечатлительный, парадоксальный

О. Генри
ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

МАРК ТВЕН

Произведения Марка Твена полны дерзкого юмора, смеха и шутовства. Герои его рассказов — веселые и изобретательные мошенники — порой вызывают больше симпатии, чем «добропорядочные» граждане.

ISBN 5-224-01317-8

ozon.ru
выбирайте
1160069771